Гессен, С.

„Холерные бунты".

М., 1932

ЕШЕВАЯ 
историко-
...олюционная
БИБЛИОТЕКА

СЕРГЕЙ ГЕССЕН

„ХОЛЕРНЫЕ“ БУНТЫ

1932
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТКАТОРЖАН



ДЕШЕВАЯ ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 20 МАССОВАЯ СЕРИЯ № 20

С. ГЕССЕН

„ХОЛЕРНЫЕ БУНТЫ“

(1830—1832 гг.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН и ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
МОСКВА
1 9 3 2

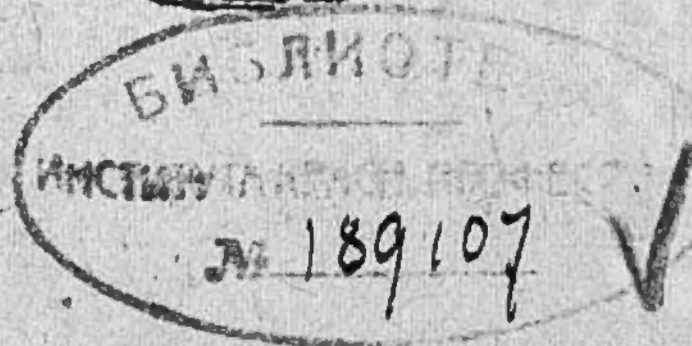
ДЕШЕВАЯ ИСТОРИК[illegible]ОННАЯ БИБЛИОТЕКА

1932 г. № 20 (354)

Обложка работы худ. В. Г. Бехтеева

Ответственный редактор Я. Б. Шумяцкий. Техн. редактор Н. В. Жданова. Сдана в набор 10/VI. Подписана к печати 13/VIII—32. Изд. № 34. СтАТ $Б_6$—125×175 мм. Печатн. л. 2. Уполномоч. Главл. В — 30844. Школа ФЗУ Мособлполиграфа
Заказ 129. Тираж [illegible]





ХОЛЕРА В РОССИИ

„В конце 1825 года,—вспоминал Пушкин,—я часто виделся с одним дерптским студентом... Однажды, играя со мною в шахматы и дав мат конем моему королю и королеве, он мне сказал: „Холера — morbus[1] подошла к нашим границам и через пять лет будет у нас...“ О холере имел я довольно темное понятие, хотя в 1822 году старая молдаванская княгиня, набеленная и нарумяненная, умерла при мне в этой страшной болезни. Я стал его расспрашивать. Студент объяснил мне, что холера есть поветрие, что в Индии она поразила не только людей и животных, но и самые растения, что она черной полосою стелется вверх по течению рек, что по мнению некоторых она зарождается от гнилых плодов и прочее — все, о чем после мы успели наслыхаться. Таким образом, в дальнем уезде Псковской губернии. молодой студент и ваш покорнейший слуга, вероятно одни во всей России беседовали о бедствии, которое, через пять лет сделалось мыслию всей Европы.“

Бывший дерптский студент, а потом „блестящий“ гусар, приятель Пушкина, умный и наблюдательный Вульф оказался зловещим пророком. Впрочем, значение пророчества его умалялось тем фактом, что однажды, в 1823 г., страшная азиатская гостья уже переступила границы России, проникнув через Персию в русское Закавказье, в Тифлис и в Баку. В сентябре того же года холера водным путем проникла и в Астрахань,

[1] Болезнь.

однако вскоре, с наступлением холодов, она прекрати-
лась. Это была как бы первая рекогносцировка, за ко-
торой через шесть-семь лет последовало опустошитель-
ное нашествие холеры на Россию.

В 1829 г. холера перешла русские границы сразу уж
в двух местах: в Оренбург занесли ее киргизские орды
старым путем, через Персию, она снова проникла
Тифлис и в Астрахань. И оттуда открыла свое гибель-
ное триумфальное шествие через всю страну. В конц
следующего года тот же Вульф с непритворной тре-
вогой уже заносил в свой дневник зловещие сведения
подтверждавшие его предсказание: „Никакие меры пре-
досторожности не в силах, кажется, остановить распро-
странение сего бедствия: от пределов Сибири она вс
подвигается к западу, и едва ли не дойдет она до серд
Европы. Она мне кажется губительнее чумы, котора
по крайней мере весьма редко прокрадывается чере
карантины."

Казалось, что и в самом деле никакие средства, ни-
какие предохранительные меры не способны противо-
стоять страшной болезни. Осенью 1830 г. холера про-
никла в среднюю Россию. Во второй половине сентябр
она появилась в Пензенской, Симбирской и Костром-
ской губерниях. Указом правительствующему сенат
от 24 сентября, опубликованным 4 октября, в назван-
ных губерниях повелено приостановить объявленны
там рекрутский набор, по случаю появления эпидеми-
ческой болезни холеры. Указом от 10 октября набо
приостановлен по той же причине в губерниях Кост-
ромской, Курской и Слободско-Украинской.

Следуя за этими тревожными правительственным
указами, мы наблюдаем постепенное зловещее распро-
странение холеры, безжалостные щупальцы которо
охватив кровеносные артерии объятой ужасом стран
медленно, но верно протягивались к Петербургу.

Правительство потеряло голову. Бороться с холеро
оказывалось несравненно труднее, нежели с солдатски-
ми восстаниями и крестьянскими бунтами, где лучшим

и испытанными лекарствами были свинец и плети. Найти лекарство против холеры не представлялось возможным. Проще и естественнее всего было, в тогдашней темной и порабощенной России, обратиться за помощью к богу. И вот по всей России потянулись бесконечные крестные ходы, загудели колокола и ладан заструился в отравленный заразой воздух.

Это было, по тем временам, конечно, хорошим лекарством, однако, не против холеры, конечно, а против народного возмущения. Церковь честно служила самодержавному правительству, одурачивая свою верующую паству рассуждениями о том, что холера есть следствие „божьего гнева", что, стало быть, она ниспослана свыше за грехи верующих, и так дальше в том же роде.

Одновременно правительство мобилизовало на борьбу с возможными крестьянскими бунтами армию поместного дворянства, которое, вопреки всем осложнениям в отношениях своих с самодержавием, в ответственные моменты оказывалось совершенно солидарно с ним перед лицом общего врага — трудового крестьянства. И вот, в то самое время, как священнослужители с амвонов вколачивали в народное сознание ядовитые представления о холере, как о „божьей каре", им вторили в своих вотчинах помещики.

„Я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о холере; ты бы со смеху помер, да не стоишь ты этого подарка," иронизировал в дружеском письме Пушкин, запертый карантинами в своем нижегородском имении. Позднейший мемуарист сохранил на страницах своих записок эту „проповедь" Пушкина:

„И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать также, то вас будут сечь. Аминь".

Однако, ввиду возникавших в разных местах беспорядков, поместному дворянству вообще было в это время вовсе не до шуток. Общее тревожное и напряженное настроение отчетливо выразил крупный тамбовский помещик П. Оленин, писавший в январе 1831 г.

губернатору: „Ваше превосходительство. Забудьте в это тягостное время всякое снисхождение, свойственное вашему доброму сердцу, как начальник поступите со всею строгостию для общей безопасности. Рассвирепевшая чернь опаснее зверей".

Дело в том, что, молебствиями и крестными ходами „врачуя" дух народа, правительство пыталось все-таки врачевать и тело его путем введения наивных и ни в какой степени не достигавших цели профилактических мер, чаще всего обращавшихся во вред населению.

Всю Россию изрезали карантины. Их было чрезмерно много и устраивались они настолько неумело, что нисколько не препятствовали распространению заразы. На заставах все проезжие задерживались и окуривались специальными составами. Тысячные обозы, шедшие с юга России и из внутренних губерний, направлявшиеся в столичные и губернские центры, задерживались на заставах. В хаосе бесчисленного скопления людей, повозок, лошадей отсутствовало какое-либо руководство. Все делалось кое-как, как придется. И холера беспрепятственно и победоносно шагала через эти искусственные и ненадежные препятствия, служившие более всего к распространению лихоимства, взяточничества, откровенного грабежа с живых и мертвых.

На заставах, где надлежало подвергать четырнадцатидневному „карантинному очищению", более походившему на арест,— не только, как сказано, людей, но и товары и вещи,— не хватало помещений. Местные власти бессовестно взимали с задерживаемых крупные денежные пени, и тогда двухнедельный карантин таял в несколько часов, и карета дворянина или тарантас зажиточного купца катили в город, нередко завозя с собою страшную заразу.

Злоупотреблениям не было конца. Они вызывали открытый ропот неимущего и малоимущего населения, не имевшего средств откупаться от всевозможных стеснительных мер, вводившихся местными властями с целью вымогательства. Одним из следствий недоволь-

ства было систематическое укрывательство больных, что, в свою очередь, навлекало на низшие классы правительственные репрессии, приравнивавшие противохолерную профилактику к своеобразному осадному положению. Так, 10 октября 1830 г., московский генерал-губернатор приказал: „Если в каком-либо доме будет умерший от холеры, о котором прежде не было дано знать полиции, то за сие сокрытие весь дом подвергается оцеплению и никто из живущих в таком доме не будет выпущен".

Не хуже законодательствовал и петербургский губернатор, объявлявший, что „при получении известий от частного пристава о каждом сомнительном больном, попечитель отправляется сам для освидетельствования больного, оказания ему пособия и чтоб собрать все нужные сведения о том доме, где больной оказался, дабы все меры к ограждению дома были приняты".

„Раз, проходя по Моховой улице,— вспоминал очевидец,—я увидел, что трехэтажный дом, находящийся наискось церкви Симеония, был заперт и оцеплен полицией; у ворот стояли два будочника, а третий ходил под окнами по тротуару. Жители, в страхе и отчаянии, высунувшись из отворенных окон всех этажей, что-то кричали. Лица, проходящие мимо этого дома, бежали, затыкая платками носы, или нюхали уксус. Я думал, что явится попечитель или частный пристав, или квартальный и распорядится, чтобы больной был удален в больницу, а здоровые были выпущены. Но время шло, а никто не являлся. К счастью жителей, на дворе жил слесарь, который, собрав своих рабочих, сбил калитку с петель. В одну минуту у окон никого не было: все ринулись вон из дома и разбежались по всем направлениям. Полиция вмиг изчезла..."

Все такие и им подобные правительственные мероприятия, само собой разумеется, вызывали в населении острое возмущение. „Сама администрация сеяла зародыши будущих смут и неудовольствий народных,— говорит современник,—и явно вселяла недоверее к

своим распоряжениям, которым в 1831 году уже никто не верил".

В самом деле, мудрено было не только что верить, но и вообще относиться к этим распоряжениям сколько-нибудь серьезно. Есть поговорка что от вели кого до смешного — один шаг. Министерство внутренних дел, в хлопотах по борьбе с эпидемией, напечатало: „Краткое наставление к распознанию признаков холеры; предохранения от оной и средства при первоначальном ее лечении". В этом поистине замечательном произведении встречались перлы, подобные запрещению „после сна выходить на воздух", или же „предаваться гневу, страху, утомлению, унынию и беспокойству духа".

Но наряду с подобными совершенно анекдотическими правилами, имелись и иные, напр.:

„б) запрещается пить воду нечистую, пиво и квас молодой...

ж) запрещается жить в жилищах тесных, нечистых и сырых" и т. п.

Министерство ограничивалось „запрещениями", не указывая, каким образом неимущее население, при отсутствии водопроводов, может получать чистую воду, или из грязных и густо населенных подвалов переместиться в просторные, светлые помещения.

Этот случайный пример изобличает ярко выраженную классовую акцентировку административных забот, что в свое время не могло не быть учтено „чернью", которая, в конечном итоге, оказывалась брошенной на произвол судьбы.

Таковы были „профилактические меры" по борьбе с холерой. Наряду с ними, правительство по-своему боролось и с эпидемией как с фактом, нисколько, как кажется, не считаясь при этом с только что упомянутыми министерскими „наставлениями". Наспех организуя больницы, администрация не задумывалась об их, местоположении и вообще о реальных условиях". Так, в самом Петербурге центральная холерная больница

устроена была в грязном, тесном и смрадном переулке на Сенной площади.

Врачей не хватало, а тем более опытных, сколько-нибудь знакомых с холерой. Орудовали по преимуществу цирюльники, в том блаженном убеждении, что наиболее действенными средством против холеры является основательное кровопускание[1]. Отправление больных в больницы возложено было на нижних полицейских чинов, из чего родился жесточайший произвол, стоивший жизней многим сотням людей.

„Больничные кареты,—вспоминает очевидец,—разъезжали по городу и в них забирали заболевших на улицах и в домах. Чтобы попасть в подобную карету простолюдину, достаточно было быть под хмельком или присесть у ворот, у забора, на тумбу. Не слушая никаких объяснений, полицейские его схватывали, вталкивали в карету и везли в больницу, где несчастного ожидала зараза—если он был здоров, и почти неизбежная смерть—если был болен. Умирали в больницах вследствие чрезмерного старания и совершенного неумения докторов. С ожесточением вступая в борьбу с холерой в лице больных, невежественные врачи были к ним безжалостны. Мушки, горчичники, микстуры, горячие ванны, наконец кровопускания— вся эта масса средств рушилась на несчастных больных целой лавиной и, разумеется, всего чаще их отправляла в могилу.

Фурманщики, забиравшие больных из домов, бывали к ним еще безжалостнее, нежели к прохожим на улицах. Последним еще удавалось иногда убегать, откупаться, но к ограждению больных в домах, особенно в артелях, от усердных полицейских, даже деньги были бессильны. Боязнь, что „начальство взыщет“, заглушала в них чувства и человеколюбия и корыстолюбия“[1]

---

[1] Вяземский передавал ходячий слух о том, что „большая часть сиделок в холерических больницах — публичные девки“.

Все это приносило свои убийственные плоды. Официальные цифры заболеваемости и смертности, заведомо приуменьшенные, тем не менее, красноречивее всяких рассуждений

На 12 ноября 1830 г., в двенадцати внутренних губерниях показано:

	заболело	умерло	выздоровело
	22731	14 066	7841
	Только по Петербургу:		
с 15 по 20 июня	215	106	2
„ 21—25 VI	1 061	505	32
„ 26—30 VI	2 588	1 160	157
„ 1— 5 VII	2 146	1 179	482
„ 6—10 VII	1 198	685	751
„ 1—14 VII	451	322	598

Таковы официальные данные, весьма существенно корректируемые всевозможными авторитетными записями современников, согласно которым всего от холеры погибло свыше 100 тысяч человек, а в одном Петербурге число жертв доходило до 600 человек в день.

Из всего вышесказанного совершенно очевидно, что огромные размеры эпидемии объяснялись далеко не одной жестокостью болезни, но в большой степени и абсолютной нецелесообразностью предпринимавшихся мер и борьбы с нею. Высшие государственные чиновники больше спорили и препирались между собою о средствах пресечения эпидемии, нежели осуществляли сред-

---

[1] Только после бунта на Сенной площади в Петербугге, о чем речь впереди, петербургский генерал-губернатор распорядился, что „занемогающие холерою могут, по желанию своему, оставаться для лечения дома, на своих квартирах, полиция же отнюдь не будет вмешиваться ни в отправление больных, ни в принятие их в больницы“.

ства эти на практике. Как бы в отместку за такое преступное небрежение, холера проникала и за стены дворцов, и за шитые золотом мундиры. Жертвами ее, наряду с царским братом, Константином, и фельдмаршалом Дибичем, пал целый ряд крупных генералов и вельмож (гр. Ланжерон, Головин, гр. Потоцкий, гр. Оперман ген. Шефлер, Костенецкий), придворных дам (кн. Куракина, гр. Завадовская, Щербина, Шимановская) и т. д.

Но, конечно, тяжелее всего холера обрушилась на низшие классы, на ту „чернь", которой так боялся помещик Оленин и которая лишена была средств неукоснительно следовать „мудрым" министерским наставлениям.

Согласимся же с цитированным выше современником этих страшных событий в том, что правительство, администрация, в лице не только низщих своих исполнителей, но и верховных блюстителей, сделали все возможное к тому, чтобы отчаяние, вызывавшееся смертоносной эпидемией, претворилось в народное возмущение.

Пущенный кем-то слух, что господа отравляют колодцы, с целью губить простой народ, с необыкновенной быстротой разнесся по России, вызвав грозные бунты, по своей кровопролитности и ожесточению мятежников, едва ли имеющие равные в эту эпоху.

В официальной истории бунтам этим плотно налепили название „холерных". Правительственная версия все дело сводила к невежеству народа, который не понял благих мер и предначертаний администрации и, поддавшись злонамеренным внушениям, ополчился на своих спасителей.

Однако весьма показательно, что народный гнев, как мы ниже убедимся, не делал никакого различия между предполагаемыми конкретными распространителями заразы (врачами, фельдшерами и пр.) и попросту представителями высшей военной и гражданской администрации, казалось бы, к „отравлениям" никакого

касательства не имевшими. Оружие мятежников ожесточеннее и охотнее всего направлялось именно против этих последних, олицетворявших в глазах бунтовщиков, ненавистное самодержавно-крепостническое правительство.

В этом отношении интересно послушать замечание талантливого и остроумного современника, писателя и поэта Вяземского, который 31 октября 1830 г. заносил в свою записную книжку:

„Любопытно изучать наш народ в таких кризисах. Недоверчивость к правительству, недоверчивость совершенной неволи к воле „всемогущей" сказывается здесь решительно. Даже и „наказания божии" почитает она наказаниями власти... Во всех своих страданиях она... ищет около себя, или поближе под собою, виновников напасти. Изо всего, из всех слухов, доходящих до черни, видно, что и в холере находит она более недуг политический, чем естественный, и называет эту годину революциею... То говорят они, что народ хватают насильно и тащут в больницы, чтобы морить... То говорят, что на заставах поймали переодетых и с подвязанными бородами бежавших из Сибири декабристов; то, что убили в Москве великого князя, который в Петербурге; то какого-то немецкого принца, который никогда не приезжал. Я читал письма остафьевского столяра из Москвы к родственникам. Он говорит: „нас здесь режут, как скотину".

Не требуется никакой особенной прозорливости и проникновенного знакомства с русским историческим процессом, чтобы из последующего изложения понять, что холера была только предлогом, или, вернее сказать, ближайшим поводом, толчком к взрыву долго сдерживаемого народного возмущения. Это возмущение, породившее так называемые „холерные бунты", питалось теми же соками, что и крестьянские, рабочие и солдатские беспорядки и восстания, которыми столь богата эпоха разложения крепостного хозяйства.

ТАМБОВСКИЙ МЯТЕЖ

Беспорядки и волнения, которые правительство хитро окрестило „холерными“, прокатились по всей России. В Петербургской и в Московской губерниях, в Псковской и Тверской,— повсюду они отдавались зловещим грозовым эхом. В Севастополе произошел „бабий бунт“, поднятый некоей Семеновой, возмутившей несколько сот женщин. Когда следователь допытывался о причинах, побудивших ее к возмущению, она объяснила, что двое детей ее умерли с голоду в карантине. По Калужской дороге тянулись в паническом страхе толпы мужиков, возвращавшихся из Москвы, с криками: „Мор! Мор!..“ В Коломне „чернь“ подняла бунт против городничего, который вынужден был опрометью удирать от мятежников и т. д. и т. п.

Нет нужды для нас следовать по пятам „холерных“ бунтов. Вполне достаточно внимательно познакомиться с отдельными, наиболее яркими и выразительными событиями из холерной хроники 1830—1831 гг., чтобы составить себе отчетливое представление о всей картине в целом.

В первых числах сентября 1830 г., по пути в свое имение, в Нижегородской губернии, Пушкин повстречался с Макарьевской ярмаркой, прогнанной холерой из Нижнего-Новгорода. „Бедная ярманка! Она бежала, как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши!“

Но, растеряв товары, крестьяне увезли с ярмарки тлетворное дыхание холеры. Около этого же времени, занесенная вернувшимися из Нижнего-Новгорода крестьянами, холера объявилась в Тамбовской губернии, в многолюдном селе Никольском, расположенном всего в десяти верстах от губернского города.

Губернские власти, казалось, имели достаточно времени, чтобы подготовиться к обороне от эпидемии. Еще с 10 августа тамбовский губернатор И. С. Ми-

ронов получил известие о появлении в Саратове смертоносной болезни, такой же заразительной, как чума. Немедленно был создан Комитет по борьбе с эпидемией. Но, действия его ограничились незначительными и совершенно не достаточными мерами. При всех городских заставах, по большим проселочным дорогам, расставлены были военные кордонные пикеты, которым предписано пропускать в город исключительно лиц, следовавших из благополучных губерний. Всех прочих надлежало выдерживать в условленном карантине. Но, само собой разумеется, что за соответствующую мзду пропускались в город и приезжие из неблагополучных губерний[1].

Сразу же обнаружился острый недостаток медицинского персонала. Случалось, что на два уезда оказывался всего один врач. А например в Кирсановский уезд послан был безграмотный ветеринар, которому начальство велело лечить людей от холеры.

Холера подкрадывалась к Тамбову медленно, сперва проникая в ближайшие к городу села. 3 сентября она появилась в с. Рассказове (в 30 верстах от Тамбова), а вслед за тем в упомянутом Никольском. В Никольское командирован был тамбовский уездный врач Гофф. Методы его лечения быстро увеличили в селе процент смертности от холеры. И через несколько дней в Тамбове получено было первое тревожное известие о том, что никольские крестьяне скрывают своих больных и даже покойников и оказывают сопротивление врачу. А когда Гофф, с помощью сотских, попытался применить репрессивные меры, крестьяне схватили его, с намерением испробовать на нем его же лечение. „Объявление“ Совета московских врачей пред-

---

[1] Так было, повидимому, по всей России, судя по огромному количеству дел, связанных с злоупотреблениями во время эпидемии. В марте 1831 г. Правительствующий сенат рассматривал, напр., по протесту владимирского губернатора, дело о некоем Меркулове, судимом за пропуск во Владимир за 4 рубля нескольких людей «без надлежащего 14-дневного очищения».

писывало „посадив больного в ванну, закрыть его плотно войлоком“.

Следуя инструкции, Гофф привез с собой такую ванну. В нее-то, наполнив ее кипятком, никольские крестьяне и собирались усадить злополучного „медика“.

В село поскакал отряд конных жандармов, во главе с уездном исправником, которому предписано было отбить Гоффа и арестовать зачинщиков. Следом за жандармами на обывательских подводах отправлена рота тамбовского батальона внутренней стражи. В свою очередь, в помощь никольским мятежникам прибывали толпы крестьян из ближайших деревень.

После ожесточенной схватки с крестьнами, Гоффа удалось отбить. Вторичная попытка крестьян, собравшихся со всего села, с кольями и топорами, захватить врача, не удалась, ибо в село уже стали прибывать солдаты, и крестьяне, конечно, не смогли противостоять регулярным войскам. Но зачинщиков они не выдали, так что карательный отряд в общем вынужден был уехать ни с чем, увозя с собой в виде трофея только неудачного никольского „исцелителя“.

А холера продолжала подбираться к Тамбову. Сперва она распространилась по городу в форме холерины и только в середине ноября со всей своей сокрушительной силой обрушилась на население, преимущественно, конечно, на крестьянство и малоимущих и неимущих мещан.

Административные меры борьбы с эпидемией были те же, что и в других губерниях. Иначе говоря, и в Тамбове они сводились не столько к пресечению заразы, сколько к вымогательству и грабежу. Холерные возки на рысях разъезжали по городу, нередко забирая совершенно здоровых людей. Цирюльники столь усердно пускали кровь, что многие больные тут же и умирали от кровопускания.

В народе, уже без того стесненном заставами и вследствие этого дороговизной съестных припасов, поднимался явственный ропот. А равнодушие губернских вла-

стей к народному бедствию очень скоро превратило этот ропот в открытое возмущение.

Официальные документы и воспоминания очевидцев согласно называют вождем движения однодворца[1] Данилу Ильина, человека смелого и грамотного, говорившего что „опасна не холера, а начальническое своеволие“. В его действиях во время мятежа сказывается не только твердая воля, но и некоторая руководительская опытность. Интересно, например, что он в самый разгар возмущения отправил письмо к никольским крестьянам, с призывом присоединиться к мятежу.

Видимым поводом к возмущению послужил известный уже нам слух о том, что господа отравляют колодцы. Через несколько дней после появления холеры, мятежная толпа явилась к городской думе, требуя для объяснений городского голову, купца Байкова. Но Байков предпочел укрыться на окраине города, в доме родственников жены, где и скрывался до самого окончания бунта[2].

Тогда мятежники захватили губернатора Миронова и, ведя его посреди себя, отправились к больнице. Тамбовский полицеймейстер, полковник Модерах, распорядился во всех церквах бить в набат, после чего исчез неведомо куда, так что и его во все время мятежа не удалось сыскать. Это последнее было, с его стороны, по крайней мере весьма предусмотрительно, ибо полицеймейстер пользовался особенной ненавистью мятежников, не скрывавших своих намерений истребить его.

Тревожный набат возымел обратное действие тому, на которое рассчитывал расторопный полицеймейстер. Он привлек на улицы всех тех, кто еще не знал о начале бунта. В несколько минут мятежная толпа возросла до пяти тысяч человек.

Разгромив больницу, толпа двинулась обратно в город, продолжая тащить за собой обезумевшего от страха

---

[1] По другим сведениям — тамбовский мещанин.

[2] Впоследствии он был предан суду вместе с тамбовскими мятежниками.

губернатора. На мосту конным жандармам, благодаря тесноте, удалось отбить злосчастного „отца губернии“.

Город перешел во власть мятежников. Полиция перепугалась на-смерть и совершенно очистила поле действий. Замечательно, что даже не грешивший особой дальновидностью губернатор, несмотря на пережитые страхи, отлично понимал истинный смысл событий и, в донесении государю от 20 ноября писал, что „в беззаконных и богопротивных действиях“ тамбовских мятежников он усматривает „не одно простое неудовольствие на меры, предпринимаемые против холеры, но подозревает гораздо важнейшие намерения злых людей, которые действуют скрытым образом на народное возмущение“.

На следующий день мятежники снова собрались к городской думе. Губернские власти решили прежде всего испытать „пастырское“ внушение, а если оно не подействует — прибегнуть к средству более надежному и испытанному — к свинцу. Архиерей выехал на площадь, занятую бунтовщиками. Оглядев волнующееся море голов, он не решился выйти, а приоткрыв дверцу кареты, стал уговаривать мятежников разойтись. Из толпы послышалось:

— Не разойдемся. Холеру эту придумали господа: они нас отравляют! Почему из господ никто не умирает, а простой народ мрет сотнями?

— Холера ниспослана от господа бога в наказание за грехи наши...— начал было уже неуверенно архиерей, но откровенно агрессивные намерения мятежников пресекли его „красноречие“.

Кучер ударил по лошадям, и карета укатила на монастырское подворье.

Крест должен был уступить место мечу. Но тут случилось нечто совсем непредвиденное и крайне угрожающее. Дело в том что в тамбовском батальоне внутренней стражи числилось 300 человек, частью из тамбовских же мещан, а преимущественно из государственных крестьян подгородных выселков, поступавших

по набору в рекруты. Начальник 5-го округа корпуса внутренней стражи, генерал майор Зайцев характеризовал их как „неблагонадежных".

Эта аттестация блестяще оправдалась, когда Зайцев, увидев из окна губернаторского дома поспешную ретираду архиерея, скомандовал солдатам заряжать ружья боевыми патронами. Из рядов ему уверенно ответили:

— Ружья-то мы зарядим, ваше превосходительство: но в своих стрелять не будем.

А с левого фланга, из четвертой роты, раздался явственный голос:

— Первые-то пули мы пустим вон туда — в губернаторские окна!

Ошеломленный генерал-майор обозвал солдат изменниками и исчез в дверях губернаторского дома. Через несколько минут он появился уже снова, вместе с губернатором.

— Воины его императорского величества,— вещал губернатор,— согласно присяге вы должны защищать начальство, а вы — что?.. стрелять в него хотите?

Никакого эффекта не последовало. Зайцев пошел на компромисс. Он стал уговаривать солдат зарядить ружья хотя бы только для острастки, чтобы народ разошелся. Несколько старослужащих солдат щелкнули затворами. По приказанию генерал-майора конные жандармы въехали в толпу, предупреждая, что сейчас будут стрелять. „Кто не бунтует,— отходи прочь!" — кричали они. Немногие, привлеченные на площадь пустым любобством, поспешили убраться.

Огромная масса мятежников не трогалась с места, как бы выжидая чего-то и стойко перенося голод и резкий, холодный ветер. Так они оставались неподвижно друг против друга, эти две силы, однородные по составу, между которыми правительство упорно сеяло антогонизм, но которые теперь всякую минуту готовы были слиться воедино: одна — безоружная, в крестьянских зипунах и тулупах, другая — одетая в

царские мундиры, вооруженная ружьями, дула которых властно тянулись к губернаторским окнам.

Морозный ноябрьский день клонился к вечеру. Площадь оделась сумерками. Наступал кульминационный пункт восстания, который должен был решить его участь.

Слишком немногое известно нам о социальном составе мятежников, чтобы с уверенностью судить о тех мотивах, которые остановили их занесенную руку. Быть может, мелкобуржуазные инстинкты руководителей восстания, Ильина и других, происходивших по преимуществу из мещан, охладили в решающий момент их чувства. Так или иначе, но мятежники упустили этот благоприятнейший случай полной растерянности и беззащитности губернской власти.

Бунтовщики решили разойтись с тем, чтобы на следующее утро, при первом ударе к заутрене, вновь собраться у губернаторского дома, вооружившись чем придется, и тогда уже перейти в наступление. А солдат, если их распустят на ночлег по квартирам, склонять к бунту. Этим самым в руки губернской власти давался решающий козырь: время, необходимое, чтобы собраться с силами. На усмирение мятежа при самом его начале в Тамбов спешно направлены были регулярные войска: конно-пионерная рота, по одному батальону Вятского и Казанского полков из Курской и Харьковской губерний, Митавский гусарский полк. Из уездных городов, на подводах спешили воинские команды.

Узнав от соглядатаев о намерениях мятежников, губернские власти в целях самосохранения, проявили несравненно большую расторопность, нежели в борьбе с холерой. Решено было солдат не распускать. Выбрав из них сколько-нибудь благонадежных людей, образовать небольшие патрули и разослать их на перекрестки, чтобы разгонять народ. Запереть все улицы шлагбаумами и перегородками. А главное, просить архиерея устроить с утра крестный ход и общее богослужение. И чтобы то и другое было возможно длительнее, дабы

таким образом выиграть время до прибытия воинской силы.

Крест и меч, нетвердо державшиеся в руках тамбовских властей, после неуспешных сепаратных выступлений, решились действовать заодно. Когда поутру мятежники, разметав патрули и шлагбаумы, ринулись на площадь, внезапно во всех церквах ударили в колокола, из храмов вышло духовенство в полном облачении, с образами и хоругвями. Духовенство направилось к Казанскому монастырю, откуда появилась новая процессия с архиереем во главе. Бунтовщики растерялись, но веками „вколачивавшееся“ в них религиозное чувство одержало верх. После некоторого колебания, они обнажили головы и принялись молиться.

Молиться пришлось очень долго. После изнурительного молебна открылся общий крестный ход на соборную площадь. Вся эта музыка окончилась только около двух часов дня, тогда, когда уже город наполнился прибывшими с разных сторон войсками. Вопреки убеждениям архиерея — после обедни разойтись по домам, мятежники снова не послушали красноречивого своего пастыря, и, едва умолк колокольный перезвон, хлынули к губернаторскому дому.

Но было уже поздно. Церковь честно сослужила службу самодержавию. Невооруженные мятежники очутились в мышеловке, со всех сторон окруженные правительственными войсками. Восстание было раздавлено. Две тысячи никольских крестьян, с вилами, косами и топорами, шедшие на помощь тамбовским бунтовщикам, были задержаны в 4 верстах от Астраханской заставы и не поспели к месту действий.

Хотя бунт был задушен, войска продолжали прибывать в город и расквартировывались по домам мещан, на правах постойной экзекуции. Под этой надежной охраной открылись действия сперва следственной, а потом военно-судной комиссии. Всех подсудимых набралось свыше 200 человек. Среди них было много никольских крестьян, а также отдельные городские чиновники

и купцы, оказавшиеся причастными к возмущению. Данила Ильин, его младший брат и мещанин Евлампий Акимов, бывший, по указанию следствия, главным действующим лицом в мятеже, приговорены к наказанию плетьми и потом к ссылке в каторжные работы на двадцать лет. Восемь человек приговорены к наказанию шпицрутенами и т. д.

Экзекуция производилась на площади, в виду всех жителей, которых полиция с раннего утра насильно сгоняла к месту истязания. По свидетельству современников, Данила Ильин не вынес зверской пытки и через несколько дней скончался в больнице.

Труднее оказалось справиться с мятежными солдатами. Весь батальон внутренней стражи заперт был в старые казармы, за Вознесенским женским монастырем, где содержался до окончания суда. Но военно-судной комиссии несмотря на все приложенные усилия не удалось установить зачинщиков. Допрашиваемые по одиночке солдаты настойчиво повторяли, что они все отказались стрелять, все бунтовали и все равно виновны. В конце концов весь батальон сослан был на Кавказ, где убийственные лихорадки и меткие горские пули должны были послужить бунтовщикам жестоким возмездием.

БУНТЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

В середине июня 1831 г. холера наконец проникла в Петербург. 19 июня появилось официальное обращение генерал-губернатора к жителям столицы, извещавшее о появлении эпидемии. Газеты забили тревогу. „По известиям, полученным из Риги и некоторых приволжских городов о появлении в них холеры, приняты были все меры к ограждению здешней столицы от внесения сей болезни; по всем дорогам, ведущим из мест зараженных и сомнительных, учреждены были карантинные заставы; все письма, вещи и посылки, оттуда получаемые, подвергались рачительной окурке. Словом, сделано все к предотвращению сего бедствия, но не-

смотря на все сии предостережения холера, по некоторым признакам, проникла в Петербург...“

Официальные извещения, как, впрочем, и все правительственные мероприятия, значительно запаздывали. Холера появилась в Петербурге еще 14 июня и уже через несколько дней, приняв угрожающие размеры, охватила весь город.

В самый день правительственного сообщения, 19 июня, известный цензор А. В. Никитенко записал в свой дневник: „Наконец холера со всеми своими ужасами явилась и в Петербург. Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности“.

Город казался вымершим, одни холерные возки колесили во всех направлениях. На улицах лежали трупы, которые не успевали убирать. Да еще десятки гробов постоянно тянулись на кладбища. Это само по себе уже производило удручающее впечатление. Государь распорядился, чтобы „умершие холерою впредь были хоронимы не днем, а по ночам“. „Памятны эти ночи петербургским старожилам!“— вспоминает современник.—При красном мерцающем свете смоляных факелов, с одиннадцати часов вечера тянулись по улицам целые обозы, нагруженные гробами, без духовенства, без провожающих, тянулись за городскую черту на страшные, отчужденные, опальные кладбища“.

Жизнь совершенно замирала. Постепенно закрывались учебные заведения, общественные собрания и увеселения. 3 июля закрылись театры, после того как на последнем спектакле в антракте один из зрителей упал в коридоре, почернел и тут же умер. „Жертвы падали вокруг меня, пораженные невидимым, но ужасным врагом,— записывал Никитенко.— Из нескольких сот тысяч живущих теперь в Петербурге, всякий стоит на краю гроба — сотни летят стремглав в бездну, которая зияет под ногами каждого“.

Впрочем, само собой разумеется, далеко не все жители Петербурга вынуждены были ощущать под нога-

ми эту зияющую бездну. „Люди зажиточные поспешили убраться за город“, вспоминал актер Каратыгин. Первым, как и следовало ожидать, дезертировал император Николай во главе царской семьи. За ним поспешили министры, члены Государственного совета, а там и все, кто имел средства бежать. К 20 июня дворцы и особняки Петербурга опустели. Их обитатели спасались в Царском Селе и в Петергофе, на Елагином и Каменном островах, отрезанных от всего мира железными кордонами, сквозь которые не могла проникнуть никакая зараза. Там можно было оставаться спокойными и беззаботными, в уверенности, что отравленное дыхание холеры не коснется этих избранных. Оттуда можно было с философским равнодушием, как из театральной ложи, наблюдать трагедию, которая разыгрывалась рядом, в блаженном сознании собственной безопасности. Пушкин в дружеском письме иронически жаловался на дороговизну, господствующую в Царском Селе вследствие затрудненного подвоза припасов: „Я здесь без экипажа и без пирожного, а деньги все-таки уходят. Вообрази, что со дня нашего отъезда я выпил одну только бутылку шампанского и то невдруг“. А Жуковский, в десятых числах июля вместе со двором переехавший из Петергофа в Царское Село, острил в письме к А. И. Тургеневу: „В холере пугает меня не смерть, а блевотина и разные конфузии, которые продолжаются несносно долго и наконец сгибают тебя совсем в крючок, так что после и в гроб не уляжешься и надобно вместо гроба доставать для тебя кулек, как для какой-нибудь мертвой индейки. Все эти проказы мне очень не нравятся, и в таком непристойном виде не хотелось бы мне явиться в вечность. Я, однако, холеры не боюсь!“

В Царском Селе не мудрено было не бояться эпидемии и остроумно шутить по поводу симптомов холеры. Но тем, которые вынуждены были встречаться с болезнью грудь грудью, тем, которые не имели возможности вырваться из этого отравленного ада, было не до

остроcловия. Вместе с холерой по городу распространялись всевозможные зловещие слухи. Все они сводились к одному: именно, что холеры, как таковой, не существует, что она является плодом злонамерных замыслов. Одни говорили — поляков, врачей немцев, иные — администрации, и т. д. и т. п. И по мере роста и распространения этих тревожных слухов, они постепенно принимали все более агрессивный и решительный характер, начиная искать виновников народного бедствия в самом правительстве.

В том, что такие слухи могли рождаться, не было ничего удивительного, если даже высшие государственные чиновники способны были высказывать аналогичные предположения. Так, московский почт-директор, А. Я. Булгаков, еще в конце 1830 г. уверял брата, что „холера в одном воображении медиков, трусов или тех, кои спекулируют на награждении и высочайшие милости“. В сознании тех, кого царскосельские и петергофские затворники презрительно именовали „чернью“, подобные слухи, естественно, находили богатую пищу. Ибо они издавна привыкли все свои беды приписывать правительству.

„В городе недовольны распоряжениями правительства, — записывал 20 июня Никитенко, человек вполне верноподданный, — лазареты устроены так, что они составляют только переходное место из дома в могилу. В каждой части города назначены попечители, но плохо выбранные, из людей слабых, нерешительных и равнодушных к общественной пользе. Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем, туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда и просто пьяных из черни. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху, только усугубила

свои пороки[1]. Нет никого, кто бы одушевил народ возбудил в нем доверие к правительству. От этого разных частях города уже начинаются волнения. Наро ропщет. Правительство точно в усыплении: оно не при нимает никаких мер к успокоению умов".

Последнее не совсем верно. Правительство в высше степени бдило, но преимущественно о собственно безопасности. На эту тему сохранилось множество за бавных анекдотов. Один крупный государственный чи новник выслушивал доклады своих подчиненных сквоз замочную скважину, другой вообще распорядился все отвечать, что он в отъезде и даже слугам своим запре тил разговаривать с прохожими и т. д.

Понятно, что в таких условиях, у петербургско „черни" росло чувство беззащитности, брошенности. наряду с отчаянием и паническим ужасом перед не ведомым врагом крепло возмущение против правитель ства, еще раз предавшего свой народ[2].

Со второй половины июня в разных частях город начались беспорядки. Бунтовщики задерживали и обыс кивали людей, казавшихся им подозрительными, раз бивали холерные кареты, а вскоре стали громить больницы, и наконец оказывали сопротивление бес чинствующей полиции, открыто угрожая бунтом крича, что здесь не Москва, где народ допустил себ одурачить.

Современники вспоминают, что „это неудовольстви с низшим сословием разделяло и среднее". Официаль ные сведения дают возможность составить более точ ное понятие о социальном составе зачинщиков волне ний. Так, напр., по делу о беспорядках 21 июня Рождественской части на Песках арестовано было 1 человек, из которых оказалось: 7 помещичьих кресть

---

[1] О том, как удачно петербургская администрация боролась с хо лерой, подробно см. в I главе.

[2] Даже в правлении Медико-хирургической академии открыт осуждали „бездеятельность правительства", говоря, что „больны отданы на жертву холеры, а все делается только для виду".

(из них—5 дворовых и 2 мастеровых), 2 казенных рестьян, 1 свободный хлебопашец, 1 солдат, 2 цехоых, 2 неимущих мещан и 1 отставной подканцелянст из мещан. Состав бунтовщиков говорит сам за бя и едва ли нуждается в комментариях.

Волнения и беспорядки в Петербурге разрядились звестным бунтом на Сенной площади 22 июня 1831 да. Сенная площадь стала ареной возмущения потому, онечно, что на ней, как выше было сказано, помещаась центральная холерная больница. Это-то здание, месте с находившимися в ней врачами, стало первой ертвой возмущенного народа. Больница была букльно разнесена, а несколько врачей — убиты. Волнеие приняло такие размеры, что полиция не только го не сумела справиться с ним, но поспешила разбеаться и попрятаться. Военный генерал-губернатор аф Эссен, которого деликатные современники назыли слабоумным, в результате бесплодной попытки спокоить разъяренную толпу вынужден был обратиться т нее в постыдное бегство.

Благополучно добравшись до дому, Эссен собрал к ебе на совещание всех имевшихся на-лицо представителей высшей администрации, которые порешили рибегнуть к воинской силе. Как видим, результат всех одобных совещаний был совершенно одинаков: не поагаясь нисколько на свой авторитет и на уважение доверие к себе народных масс, николаевские чиновики во всех подобных случаях, будь то в провинциьном Тамбове или „Северной Пальмире", первым олгом прибегали к штыкам и к свинцу.

И на сей раз, как и в Тамбове, с войсками не обошось без „недоразумения". Гвардейские солдаты, котоым надлежало усмирять бунт, „показали недоверие начальству" и не выказали решительно никакого жеания итти против народа. Начальство не побрезгало ткровенным обманом: солдатам шепнули, будто бунт ровоцирован поляками, преследующими собственные нтересы. Эта ложь возымела действие, ибо с поляка-

ми в это время были особые счеты. Солдаты зарядил ружья и пошли к Сенной площади. Преображенцы семеновцы, усиленные артиллерией, оцепили площад Один же батальон Семеновского полка, во главе с к мандующим гвардейским корпусом, кн. Васильчиковы с барабанным боем явился на площадь и силой очи тил ее от народа. Бунтовщики устремились в боковы улицы, в переулки, но и там натыкались на колючу щетину вздернутых штыков. Появление войск хотя заставило народ очистить площадь, однако, даже г свидетельству официальных летописцев тогдашних с бытий, „нисколько его не усмирило и не образумило Но запертый в сплошном кольце войск мятеж бь обезврежен и уже не представлял опасности, буду обречен на более или менее быстрое угасание, ибо ином случае мятежники в любую минуту могли быт расстреляны сторожившими их солдатами.

Тогда-то произошло „торжественное" явление импер тора Николая перед возмущенной толпой, столь ш роко прославленное в официозных историях и в льст вых излияниях верноподданных современников. О наперебой восхищались героизмом царя, отважно яви шегося в самом центре возмущения и заставивше многотысячную мятежную толпу преклонить колен

„Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающи обман". Очень вероятно, что многие из этих восторже ных современников совершенно искренно старали уверовать в царский героизм, ибо, конечно, всяком лестно было хоть на мгновение за солдафонским о ликом Николая почувствовать античного героя. Но м приученные безжалостно срывать с истории ее пара ные покровы, без труда разглядим будничную изнанк в которой не было ничего героического, кроме обы новенного театрального жеста на фоне пушек и зар женных ружей, от одного прикосновения пальца изве гающих огонь и свинец. И даже падение народа колени не спасает эту героическую официальную л генду, ибо наше материалистическое сознание подск

вает совершенно естественную догадку, что народ дал на колени не столько перед царем, „помазанником жиим“ сколько все перед теми же ружьями, в елезных стволах которых гнездилась моментальная ерть, готовая вырваться при малейшем неповинове-и.

Бунт на Сенной площади был кульминационным пунк-м петербургских событий. Правда, беспорядки и вол-ния в городе прекратились далеко не сразу, в раз-х местах отдаваясь тревожным эхом. И сам император иколай в письме к фельдмаршалу Паскевичу от 6 мая, преминув похвастать тем, что ему „удалось унять род своими словами без выстрела“, тут же вынужден ил признаться: „Но войска, стоя в лагере, беспрестанно движении, чтоб укрощать и рассеивать толпы“.

Постоянно разгоняемые и преследуемые войсками, тежные толпы уже лишены были возможности дейст-вать сообща, и возбуждение постепенно шло на убыль. це через несколько дней Николай уведомлял Паске-ча о том, что все, „слава богу, начинает приходить порядок“.

Тем, по существу, петербургские волнения и кончи-сь. Бунтовщики были „примерно наказаны“, а импе-тору Николаю прочно, на многие десятилетия накле-и ярлык героя, и скульптор, барон Клодт фон-Юр-нсбург даже увековечил это событие на барельефе мятника Николаю I в Петербурге.

Будем снисходительны к этим официальным и офи-озным восхвалениям. В самом деле, биография импе-тора Николая слишком бедна блестящими страницами, обы они могли позволить себе роскошь пренебречь добным эпизодом.

Впрочем, в самом ближайшем будущем Николая ожи-л новый случай наспех облечься в тогу героя при бстоятельствах еще несравненно более трагических тревожных. Мы имеем в виду бунт военных поселе-й в том же, 1831 году.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ОПРИЧНИНА

Военные поселения, оставившие столь зловещую па-
мять в истории, созданы были по собственной иници-
ативе императора Александра I в 1816 году[1]. План ца-
вкратце сводился к заселению отдельных област
империи регулярными войсками, оставляя жительств
вавших там крестьян тоже на положении военных п
селян, с тем, чтобы те и другие совмещали в себе
солдат и землепашцев.

„Читая проект образования военного поселения, я
мог без слез следовать за движением души сего вел
кого образователя-царя,— распинался генерал Маевск
начальник Старорусского поселения.— Все, что дыш
устройством и счастием народа,— это говорилось б
жественным сердцем его. Возвышенный язык, вместе
счастливым изобретением и желанием врезывались
душу мою и ослепляли меня блаженством золото
века. Я после только узнал, что тиран-исполнитель д
лек от бога-царя, определяющего счастие людей".

„Тиран-исполнитель"— это, конечно, военный минис
граф Аракчеев, которому Александр I вверил органи
цию военных поселений и потом начальствование н
ними. Таким образом, создавалась чрезвычайно наря
ная легенда о царе-благодетеле и жестокосердн
слуге, извратившем царскую волю.

Действительность рисуется несравненно прозаичн
Империалистической России необходимо было держа
под ружьем огромную армию, чтобы поддержива
свое главенствующее положение в Западной Евро
Армия требовала больших затрат, а государственн

---

[1] Первый неудачный опыт создания военного поселения относи
еще к 1810 году. В буржуазной историографии идея военных по
лений приписывалась Аракчееву, но в действительности он внач
относился к этому замыслу крайне отрицательно. И только убед
шись в непреклонности решения Александра, боясь утратить с
влияние на государя, Аракчеев прикинулся сторонником военных
селений и горячо взялся за их осуществление.

юджет и без того сильно хромал[1]. Необходимо было зыскивать пути к сокращению военных расходов. Необходимо было, наряду с этим, обеспечить какой-то овой твердой опорой самодержавный строй, который следствие социальных и политических сдвигов последих лет)оказывался всем в тягость и чувствовал себя райне одиноко и неуверенно.

Удовлетворению этих насущных для правительства ребований и должны были служить военные поселеия. Они сулили правительству образование со времеем огромной армии, обслуживавшейся продуктами обственного труда, что должно было разгрузить гоударственный бюджет[2]. Армия эта, изолированная и оспитанная в традициях слепого повиновения, обещала будущем стать новой опричниной, железным кулаком, пособным защитить самодержавие. Итак, опыт создаия военных поселений продиктован был не мягкосеречием императора Александра „благословенного", как аструбили верноподданные бытописатели, и не безумым капризом жесткосердного временщика, как склонны ыли толковать либеральные историки. Создание военых поселений диктовалось социальными противоречими, представляя собой судорожную попытку самодеравия выбраться из безвыходного тупика.

Поистине кошмарные условия быта военных поселян еоднократно описывались в литературе. Стесненные трожайшей регламентацией, предусматривавшей буквально каждый шаг, вплоть до женитьбы или рождения ебенка, поселенные крестьяне и солдаты равно изнеогали под бременем непосильных работ и требований.

---

[1] В это время военные расходы поглощали около половины госуарственного бюджета.

[2] Интересно отметить, что в среде крупных землевладельцев, глуоко задумывавшихся в это время над способами интенсификации сво- х хозяйств и увеличения хлебного экспорта, эта хозяйственно-политиеская сторона военных поселений, т. е. идея принудительно-коллекивистской организации, встретила горячее сочувствие, во многом овпадая с социально-политическими тенденциями влиятельных поещичьих кругов.

Неся весь тяжелый крестьянский труд, усугублявш
ся всевозможными строительными работами, дорож
ми повинностями и пр., поселяне, вместе с тем, долж
были приобретать „твердое знание всего касающего
до военной экзерциции". Иными словами, в военн
поселениях процветала та же сумасшедшая фрунтома
и парадомания, те же шпицрутены и мордобой за
лейшее нарушение мертвящей дисциплины, словом,
шительно все то, что солдатскую службу обращал
бессрочную каторгу и почему многие солдаты со
тельно шли на преступление, чтобы казарму смен
на острог.

Начальствующий состав поселенных войск впо
соответствовал всему вышесказанному, представляя
бой картину полного морального разложения. Сколь
нибудь честные и порядочные офицеры всячески ук
нялись от назначения их в округа военных поселен
Будущий декабрист, прапорщик Вихарев, со школь
скамьи угодив в военные поселения, с ужасом пи
что увидел себя окруженным „отбросами человечест

Первые военные поселения устроены были в Но
родской губернии и на Украине. Будущие военные
селяне сдались не сразу. Крестьяне нисколько не об
нывались трескучей шумихой фраз и, угадывая за
ожидавшую их действительность, всеми силами про
вились осуществлению „благодетельного" замысла
ператора Александра.

В Холынской и Высоцкой волостях Новгородс
губернии введение поселений вызвало открытое во
щение крестьян и целый ряд крестьянских депута
к царю и членам „августейшей фамилии"[1]. Как вид
крестьяне тогда еще склонны были смотреть на д
так же, как и восторженный генерал Маевский и ему
добные, веря в благие намерения царя и все свои б

---

[1] Неудачен был уже самый выбор местности: сырой климат и
плодородная почва отвращали крестьян от земледелия. Они пре
читали заниматься всевозможными отхожими промыслами, к
богатые возможности давали судоходный Волхов и близость стол

ля на Аракчеева. Восстание было подавлено с помо- ю артиллерии и кавалерии, а депутации упрятали в ы. Впрочем, это только сейчас, на бумаге, звучит так осто, ибо в нескольких строках трудно обрисовать орное сопротивление новгородских поселян, оконча- льно сломленное только, в 1818 г., т. е. почти через а года.

На Украине конфликт между „благодетелями“ и „благо- тельствуемыми“ принял еще более острые формы. Ка- цкие станицы поднимались одна за другой, при из- стии об обращении их в военные поселения в 1817 г. зaки отказывались присягать и оказывали открытое противление правительственным войскам. На усмире- е их со всех сторон стянуты были верные полки. зaков гнали к присяге кавалерийскими шашками и ряженными пушками. Зажатое в железных тисках пра- тельственных войск, восстание было раздавлено. Но етом следующего, 1818 г. оно вновь вспыхнуло, снова отребовав вмешательства военной силы.

Все это было только еще прологом к назревавшему ризису, который разрешился летом 1819 г. так называе- ым Чугуевским бунтом, в самом центре слободско- краинских поселений.

Инспираторами возмущения явились богатые хуто- яне, которых введение военных поселений задевало собенно больно, лишая их всякой хозяйственной само- тоятельности. Но они только уронили искру мятежа, оторая была уже зажжена беднейшей частью казаче- тва.

Восстание, вспыхнувшее в Чугуевском уланском полку, разу же перекинулось по соседству в округ Таганрог- кого уланского полка, охватив не только казаков-по- еленцев, но — что было особенно страшно — и поселен- ых улан. Бунтовщики твердо держались решения во то бы то ни стало уничтожить военные поселения. наиболее радикальным для сего средством считали бийство Аракчеева, который сам прибыл к месту дей- твий и буквально утопил Чугуев в крови.

А правительство еще играло с бунтовщиками в милосердие, ибо недипломатичным казалось жестоко карать людей за одно только непонимание благих намерений самодержавной власти. Но пришла пора выпустить когти, и десятки мятежников прошли по „зеленой улице", сквозь тысячу человек по двенадцать раз. Двенадцать тысяч шпицрутенов — это был утонченнейший вид смертной казни. Свыше половины истязуемых умерло под палками.

Впрочем, не одни только шпицрутены сеяли смерть в военных поселениях. Отчеты 1820 годов, несмотря на всевозможные затушевывания, с непреложностью свидетельствовали о том, что смертность в округах военных поселений значительно превышала рождаемость, почему не было надежды на пополнение поселенных полков изнутри. „При десятой доле умирающих между работавшими батальонами, смертность не считалась большою,— вспоминал полковник Панаев.— Когда умирала восьмая доля, тогда только производились следствия".

„Запасные магазины, заемные и вспомогательные капиталы и тому подобные учреждения прекрасны,— замечал вполне „благонамеренный" современник Н. В. Путята.— Но желательно бы знать, какое действие они имеют на развитие промышленности и благосостояние поселян? Не было ли все это наружною выставкою, подобно щеголеватым зданиям поселений, в которых жильцы не знали, где приютиться из опасения не портить казенную мебель и утварь и подвергнуться за это строгому наказанию, или вроде тех сытых обедов с жареным поросенком, которые потихоньку переносились из избы в избу в дни посещения поселян знатными особами. Все красивые постройки, регулирования, дороги, шоссе, все обзаведение и устройство поселенных местностей стоили огромных сумм и производились в ущерб государственной казне и прочих жителей России. На все усиленные и часто несвоевременные на это работы употреблялись тысячи людей, смертность

между коими, по официальным сведениям, иногда доходила до десятой части всего их числа..."

Если, таким образом, военные поселяне оказывались в положении, разительно напоминавшем положение негров на рабовладельческих плантациях где-нибудь в низовьях Миссисипи, то, с другой стороны, и государственный бюджет тоже не выигрывал от этой новой системы. Правда, Аракчееву удалось скопить запасный капитал до 50 млн. рублей, но цифра эта была обманчивая, дутая. Ибо при этом не учитывались коллоссальные расходы, понесенные казной по самому устройству поселений, в первые же годы их существования поглотившие до 100 млн. рублей.

Цифры государственных расходов значительно еще округлялись чудовищным воровством, царившим в округах военных поселений, а также и тем, что поселенцы освобождены были от всех податей. И еще последнее обстоятельство, уподоблявшееся похоронному звону по несбывшимся хозяйственным иллюзиям правительства, заключалось в том, что продукты, производившиеся в военных поселениях, оказывались совершенно недостаточными для поселян, и значительное число их получало содержание от казны. Это последнее происходило в значительной мере от дурного, безобразного хозяйничания, в котором, как и во всем строе военных поселений, основной упор делался на внешность, на вывеску. Достаточно послушать, что говорит тот же восторженный генерал Маевский, приехавший к месту службы с сердцем, исполненным благоговения перед правительством за его мудрые и благие начинания: „Представьте, что корова содержится, как ружье, а корм в поле получается за 12 верст; что капитальные леса сожжены, а на строение покупаются новые из Порхова, с тягостнейшею доставкою; что для сохранения одного деревца употреблена сажень дров, для обставки его клеткою,— и тогда получите вы понятие о государственной экономии. Но при этом не забудьте, что поселянин имеет землю только по названию, а об-

щий его образ жизни — ученье и ружье; что он, жена и дети, с грудного ребенка, получают провиант, и что все это стоит миллион казне. При том, от худого расчета или от того, что корова в два оборота делает в день по 48 верст до пастбища,— всякий год падало до 2 тыс. коров в полку, чем лишали себя позема и хлеборобия, а казна всякий год покупала новых коров".

Вопреки всем этим неблагоприятным показателям, искусственно насаждаемые военные поселения быстро росли, и к концу царствования Александра I охватывали уже треть всей регулярной армии. К 1825 году корпус военных поселений состоял из 36 батальонов пехоты и 249 эскадронов кавалерии украинских и 90 батальонов пехоты новгородских поселений — всего около 160 тысяч человек.

Но и в этом случае надежды правительства не оправдывались, ибо усиление военных поселений представляло собой скорее угрозу, нежели опору самодержавия. Не случайно император Николай, с самого своего, воцарения, весьма отрицательно относился к этому чудовищному опыту, а известный английский полководец, герцог Веллингтон, выражал удивление по поводу того, что „русское правительство не боится штыков".

Кошмарные условия быта военных поселян постоянно питали в них мятежный дух, и под пеплом едва притушенного возмущения тлело пламя, всякую минуту могущее вспыхнуть. Это хорошо учитывали в свое время и петербургские, и южные заговорщики, всячески старавшиеся связаться с военными поселениями и твердо уверенные в их поддержке на случай революционных действий. И если военные поселения не приняли участия в декабрьских событиях 1825 г., то это вина, конечно, нераспорядительности самих декабристов и страха их вызвать новую пугачевщину, а отчасти (на юге) и той быстроты и внезапности, с которой разыгрались события.

Тем не менее, страх императора Николая перед военными поселениями был настолько велик, что на сле-

дующий же день после восстания на Сенатской площади он отправил в Новгород генерал-адъютанта Комаровского, чтобы „удостовериться в духе поселенных войск и донести его величеству по эстафете в собственные руки, но не из Новгорода, а из первого удобного места“. И, повидимому, „дух“ поселенных войск оказался далеко не в блестящем состоянии, ибо Николаю пришлось удовлетвориться весьма двусмысленными уверениями командного состава, что „известие о восшествии на престол ныне царствующего императора не произвело никакого неприятного действия, и что, повидимому, все поселенные войска готовы будут присягнуть“.

Неизвестно, удовлетворило и успокоило ли это объяснение императора Николая, у которого имелись серьезные основания тревожиться на сей счет. Всего через пять с лишним лет, у самых ворот столицы, в новгородских военных поселениях разразился страшный бунт, казалось, угрожавший самому бытию самодержавия.

НОВГОРОДСКИЕ ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ НАКАНУНЕ ВОССТАНИЯ

Новгородские военные поселения, ставшие ареной возмущения, как выше упоминалось, уже при самом основании своем оказали серьезное сопротивление правительству. За время своего существования, подвергаясь неоднократной внутренней реорганизации, они постоянно расширялись и увеличивались, и к 1831 году округа военных поселений в Новгородской губернии занимали свыше 8 тысяч квадратных верст, насчитывая около 20 тысяч домов и более 120 тысяч душ населения.

Поселения состояли из двенадцати пехотных полков и двух артиллерийских бригад, разделенных на две дивизии. Каждый полк занимал отдельный округ, отмежеванный от соседнего полями и лугами. Полк подразделялся на три батальона, в свою очередь дробившиеся на роты, капральства и взводы. Самостоятельной единицей в округе была рота, каждая из которых

помещалась отдельно, имела собственную ротную площадь, гауптвахту, гумно, риги и пр.

Первая гренадерская дивизия, в которую входило шесть полков, расположена была в Новгородском уезде. Начинаясь неподалеку, верстах в пяти от Новгорода, по обеим берегам Волхова, тянулись округа поселенных полков. Ближайшим к губернскому городу был императора австрийского Франца I полк, расположенный между Волховом и большой Московской дорогой. В линию с ним, вдоль Волхова, вытягивался округ короля Прусского полка. Позади этой линии, на Волхове, Вишере и Тигоде расположены были резервная рота Австрийского округа и фурштадские роты [1] обоих округов. Далее следовали полки: графа Аракчеева, наследного принца Прусского, 5-й и 6-й Карабинерные полки.

Весь Старорусский уезд занят был округами 2-й гренадерской поселенной дивизии. Уездный город Старая Русса в 1824 году изъят был из ведения гражданской власти и, на особых основаниях, под названием безуездного города, обращен в ведомство военных поселений. В нем помещался штаб дивизии и рабочий батальон. А почти что за самой чертой города начинались поселения речной флотилии и округа Киевского гренадерского полка, расположенные по обоим берегам рек Тулебы и Полисти, со штабом полка в деревне Дубовицы. Эта географическая близость города и поселенного полка, как мы ниже увидим, сыграла большую роль в быстроте распространения восстания.

По соседству, по рекам Полисти и Переходне, помещен был округ принца Павла Мекленбургского полка, штаб которого находился в селе Высоком, рядом с деревней Тулебней, где помещался штаб 3-й роты Австрийского полка[2]. А по другую сторону этого последнего,

---

[1] Старинное наименование обозных команд.

[2] В дальнейшем, для сокращения, будем называть просто: Австрийский полк, Мекленбургский полк и т. д.

на юго-восток, по среднему течению рек Холыньи, Полисти и Порусья, расположены были округа принца Евгения Виртембергского полка, с полковым штабом в Великом Селе, и далее, между реками Ловатью и Полой, артиллерийские округа, штабы которых находились по соседству в деревнях Ляховичи и Залучье. В таком же тесном соседстве помещались и остальные три округа поселенных полков. Юго-западнее Мекленбургского полка, на реке Себере, расположен был Екатеринославский полк (штаб в с. Должине), а в южной части уезда, по рекам Полисти и Ловати, стояли 4-й и 3-й Карабинерные полки, штабы которых находились в деревнях Беледелке и Перешне.

Поселенные офицеры жили в местах расположения своих полков в особых домах. Совмещая в себе власть и помещиков и военных начальников, они поистине являлись полноправными, и, по существу, безотчетными хозяевами не только всего достояния, но и самой жизни своих подчиненных.

Наделенный такой страшной властью над людьми, командный корпус военных поселений попрежнему оставлял желать очень многого. Туда по преимуществу шли мародеры, прельщенные надеждой на легкую наживу, либо же те офицеры, моральные качества которых делали для них невозможной службу в других местах. Независимо от того, что весь внутренний строй поселений, как и сама их идея, резко осуждались передовым слоем офицерства, самые условия службы там не могли не отпугивать. Отставка была воспрещена, отпусков тоже не давали, либо же они обставлялись такими условиями и правилами, которые лишали возможности ими пользоваться.

Естественно, что при таких условиях начальству не приходилось быть сколько-нибудь разборчивым при назначении командиров отдельных частей, результаты чего были налицо. Более того: порядочных офицеров там не терпели. „Командиры,— вспоминает инженерный полковник Панаев,—всеми способами старались

ытеснять образованных офицеров и поручать коман-
дование ротами таким, кои, по неимению средств к су-
цествованию, обязывались не разбирать приказаний и
ыть послушными даже против совести и присяги.
лавным правилом было то, что все средства хоро-
ши, лишь бы сделано было, что приказано началь-
твом. С другой стороны, система шпионства и побу-
кдение к доносам нижних чинов противу ближайших
х начальников, когда желали переменить их другими,
ослабили совершенно всю дисциплину".

Итак, с одной стороны, беззастенчивое казнокрадство,
всевозможное интриганство и изощренная жестокость
начальников, с другой — изнурительный труд, рабское
бесправие и едва сдерживаемая ненависть подчинен-
ных — таковы основные черты новгородских военных
поселений в описываемую пору. Понятно, что одной
искры оказалось достаточно, чтобы вспыхнул пожар.

В официальных документах, в переписке, в изустной
легенде, инспирировавшейся правительством, упорно и
настойчиво причины восстания объяснялись исключи-
тельно холерой и народным невежеством, давшим бо-
гатую почву слухам об отравлении. Справедливо здесь
одно: в поселенных округах, действительно, циркули-
ровали всевозможные вздорные слухи, и суеверие по-
жинало богатую жатву. Измученные и запуганные люди
готовы были верить во все, даже в то, что холера, в
образе белой женщины, по ночам бродит по улицам,
стуча в двери, и в том доме, куда она постучит, на
следующий день непременно кто-нибудь умирает. Иные
старорусские мещане даже пытались отчаянно „лука-
вить" с холерой и на входных дверях привешивали объ-
явления: „Нет дома" или: „Посторонним вход воспрещен".

Но тем временем, как мещане надеялись таким ма-
нером „перехитрить" жестокую азиатскую гостью, воен-
ные поселяне, повидимому, очень мало внимания уде-
ляли холере, игравшей по существу только роль более
или менее случайного повода к возмущению. В этом
отношении весьма назидательно знакомство с длин-

ными списками убитых, изувеченных и избитых мятежниками, которых всего насчитывалось свыше трехсот. В этих списках обращает внимание сравнительно малое число врачей, фельдшеров, словом, тех, которые, казалось бы, первые должны были возбудить подозрение в отраве. Списки пострадавших пестрят именами офицеров, помещиков, местных чиновников, священнослужителей и т. д.

Собственно, и сами поселяне еще во время возмущения не очень настаивали на „холерной версии", охотно сознаваясь своим жертвам, что постановили „порешить всех дворян", или, что „прибирают всех господ". И не только господ. Среди пострадавших попадается немало своей братьи — поселян же, солдаток, денщиков, навлекавших на себя гнев мятежников близостью или разного рода связями с начальством.

Итак, военные поселяне очень хорошо знали, почему и против кого они подняли восстание. Знало это, конечно, и правительство, нисколько не обольщаясь на сей счет. Те, кто имел право смотреть истине в глаза и не должен был слепо повторять удобную в этот момент версию, те совершенно правильно оценивали события.

„В Старой Руссе и других местах повторились здешние сцены и под тем же глупым предлогом",— сообщал император Николай 15 июля фельдмаршалу Паскевичу, занятому в это время тоже „серьезным делом"— подавлением польского восстания. Таким образом, при первых же известиях, Николай уже понимал, что холера только предлог, только повод к возмущению. И ту же мысль, в более подробной и отчетливой форме, выразил в своих записках граф Бенкендорф:

„Несмотря на все перемены, внесенные в военные поселения императором Николаем, семя общего неудовольствия, взращенное между поселянами коренными основами первоначального их образования и стеснительным управлением Аракчеева, еще продолжало в них корениться. Прежние обыватели этих мест, оторванные

от покоя и независимости сельского состояния и подчиненные строгой дисциплине и трудам военным, покорялись и той и другим лишь против воли. Введенные в их состав солдаты, скучая однообразием беспрестанной работы и мелочными требованиями, были столь же недовольны своим положением, как и прежние крестьяне. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло общее пламя беспокойства. Холера и слухи об отраве послужили к тому лишь предлогом. Военные поселяне, возбуждая друг друга, дали волю давнишней своей ненависти к начальству...“

Если, несмотря на это вполне отчетливое понимание подлинного смысла новгородского возмущения, правительство все-таки настоятельно требовало верить тому, что всему виною холера, то объясняется это тем, конечно, что истина была слишком страшна. „Верноподданные“ не должны были знать, что налицо самый настоящий социальный бунт, следствие всей социальной и политической системы, который все равно произошел бы годом раньше или позже, даже не будь никакой холеры. „Верноподданным“ необходимо было внушать, что это все пустяки, недоразумения, основанные на невежестве черни.

Но между своими в тесном кругу, можно было не церемониться. И графу П. А. Толстому, расстреливавшему тогда литовских мятежников, император Николай откровенно сознавался, что, по его убеждению, „бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия быть могут страшные“. А граф Строганов, командированный в военные поселения, заключал свое донесение государю от 19 июля следующим выразительным замечанием: „Видимая цель поселян есть — воспользоваться сим неожиданным случаем, чтобы потрясти на долгое время основание столь ненавидимого ими порядка“.

„Случай“ был, в самом деле, необыкновенно удачный. Независимо от жестокой эпидемии, сама природа, казалось, содействовала возбужденному состоянию поселян. В последних числах декабря 1830 г., подле Новго-

рода стали появляться необыкновенные северные сияния, длившиеся по несколько часов. Суеверные люди, вспоминая зловещую комету 1811 г., верили, что и эти небесные явления предвещают недоброе. Холодная зима сменилась для поселян тревожным летом. „Сама природа изменилась в то время и показала картину „прогневанных небес“—вспоминал насмерть перепуганный ротный командир Австрийского полка Заикин:—Везде горели леса, трава на лугах, а местами выгорали целые поля, засеянные хлебом. Густые облака дыма носились в воздухе и затмевали солнце. Выжженная земля громадными пустырями виднелась во все стороны. По ночам воздух наполнялся непроницаемым туманом, от которого утренняя роса была причиною большого падежа скота“.

Наряду со всем этим начинала свирепствовать холера. Командование, приученное только к воровству и насилию, перетрусило и совершенно потеряло голову. Меры, принимавшиеся по борьбе с эпидемией, как и в других местах, ни к чему не вели. Растерявшееся начальство только и придумало, что в некоторых округах распорядиться вперед рыть могилы и сколачивать гроба для будущих покойников. Такая предусмотрительность, конечно, не могла произвести особенно выгодного впечатления на поселян.

И насмерть перепуганное офицерство поселенных войск тоже обратилось к духовенству, но не находило поддержки в этом, верном помощнике самодержавия. Священнослужители стоили офицеров. В массе своей это были совершенно необразованные, безграмотные люди, притом грешившие непреодолимым пристрастием к крепким напиткам, так что поселянам случалось вытаскивать своих пастырей из канав, с бутылкой в одной руке и с крестом в другой.

Наконец „злонамеренные“ внушения, повидимому, еще ускорили развитие событий. Имеются глухие указания на подговоры поселян со стороны старорусского купечества, мечтавшего о восстановлении уезда. Бегле-

цы из столицы приносили известия о петербургском бунте, и поселяне жадно вслушивались в эти рассказы. Очень вероятно (о чем тоже встречаются в литературе беглые намеки), что между такими рассказчиками попадались люди, сознательно старавшиеся поднять возмущение. Авторитетный свидетель А. К. Гриббе замечает, что восстанию „помогали, кажется, также и некоторые злоумышленники, надеявшиеся, вероятно, произвести смуту в государстве именно в то время, как началось польское восстание. Так, недели за две до взрыва бунта в село Коростыно явился отставной штабс-капитан Сверчевский. Он ездил по окрестным деревням и раздавал поселянам печатные прокламации, начинавшиеся так:

„Православные христиане, великий народ русский! Вы, по добродушию своему, не подозреваете, что начальники ваши — злейшие враги ваши, взявшие с поляков большую сумму денег, чтобы всех вас отравить к Ильину дню...“

Дело в том, что, как выше уже упоминалось, в Польше в то же самое время шумело восстание, о котором император Николай отзывался, что оно менее опасно, нежели бунт военных поселян. В известной мере польское восстание даже сослужило самодержавию хорошую службу: незадолго перед новгородским бунтом по два батальона из каждого поселенного полка отправлены были к действующей армии. В округах военных поселений оставались только третьи батальоны, резервные роты да строевые резервные же батальоны.

Эта сравнительная малочисленность мятежников облегчила правительству задачу ликвидации восстания.

СТАРОРУССКОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ

Восстание вспыхнуло в Старой Руссе 11 июля 1831 года. Солдаты рабочего батальона внезапно растеклись по улицам и благодаря неподготовленности начальства очень скоро стали подновластными хозяевами города. К ним примкнули отдельные группы старорусских ме-

щан, у которых были свои особые счеты с военными поселениями. Гнев мятежников сразу же обрушился не только на офицеров, но и на старорусское дворянство.

Артиллерийский генерал Мовес, остававшийся старшим в городе, пытался успокоить восставших, но был буквально растерзан. Та же участь постигла и полицеймейстера Манжоса, особенно ненавидимого за чинимые им всякого рода притеснения.

Чрезвычайно важно отметить, что этот, казалось бы, совершенно стихийный бунт носил довольно ярко выраженные черты порядка и организованности. В ночь на 12 июля, под непрерывный набатный звон колоколов, старорусские мятежники заняли гауптвахты, присутственные места, выставили, где следовало, караулы и разослали пикеты. Арестовав начальников, разгромив полицейское управление, аптеку и пр., бунтовщики не тронули кабаков, которые до конца возмущения оставались в неприкосновенности.

Об этом следует сказать несколько слов особо. Правительство с особенным вкусом распространялось о погромах и грабежах производимых мятежниками. Император Николай жаловался графу Толстому на то, что „толпы артиллеристов разграбили соседние помещичьи дворы и делают ужас окрестностей“. Но если, руководимые официальными документами, мы отправимся следом за этими самыми артиллеристами, то легко убедимся, что грабежи, когда и случались, носили очень уж какой-то необыкновенный, а то и просто смехотворный характер.

Вот, например, артиллеристы „грабят“ дом помещицы Мавриной и уносят с собою... ломберный стол, самовар и три мотка ниток. Или такие же артиллеристы громят квартиру поручика Иванова, причем весь грабеж сводится к тому, что рядовой Андреев взял сапоги, а рядовой Евстафьев — два стакана. Или еще весьма характерный случай: в с. Гумно солдаты Виртембергского полка пришли на квартиру капитана Булашевича и убили его. Когда они уже вышли из села, один из них

вернулся на квартиру убитого капитана и, взяв печать хозяина, замкнул и запечатал входную дверь. Но впоследствии другой поселянин сбил замок, вышиб окно и, с таким трудом проникнув в квартиру, унес... три платка и бритву.

Пожалуй, примеров вполне достаточно. Следует только предоставить краткое слово официозному „историографу“ этих событий, который, повествуя о тех же артиллеристах, вопреки своему страстному желанию изобразить их обыкновенными бандитами, вынужден сделать одно весьма ценное признание: „Лишив жизни подпоручика, мятежники начали грабить квартиру его; впрочем, они не столько пользовались имуществом, сколько били и ломали, словом, когда бунтовщики удалились, то следы присутствия их скорее носили характер мщения, ненависти к владельцу вещей, нежели грабежа“.

Мятеж с необыкновенной быстротой охватил все округа военного поселения. Этому, в первую очередь, способствовала, конечно, указанная выше географическая близость расположения поселенных полков. Отдельные поселяне находились в это время в отлучке, в городе, и, поспешая вернуться в свои округа, приносили известия о бунте в Старой Руссе. Но, наряду с быстротой, с которой распространял осьвосстание, сказывается также известная организованность мятежников.

Сразу же после начала восстания старорусские бунтовщики разослали людей по соседним округам с двоякою целью: во-первых, чтобы захватить тех офицеров, которым посчастливилось на первых порах бежать из города и, во-вторых, чтобы сообщить по периферии о начале восстания. И вот та легкость, с которой, по первому слову незнакомых им людей, поднимались роты и целые полки, невольно наводит на мысль о существовании между поселянами предварительного уговора.

Военный бунт во всякие времена и при всяком строе страшен той ответственностью, которую несет каждый рядовой его участник. В условиях николаевской юсти-

ции, за малейшее ослушание, за ничтожный промах каравшей градом шпицрутенов, являвшихся замаскированной смертной казнью, ответственность за участие в вооруженном восстании вырастала до чудовищных размеров. И мы хорошо знаем о тех мучительных колебаниях, о той нерешительности, которую проявили такие же крестьяне, одетые в солдатские мундиры, всего шесть лет назад, когда на Сенатской площади решалась судьба самодержавия. И еще пятью годами раньше, когда в Петербурге восстал Семеновский полк, целый полк и притом из старейших в гвардии, другие полки, не скрывая своего горячего сочувствия мятежникам и будучи настроены в высшей степени агрессивно, тем не менее не решились на активную поддержку и спокойно дали увести себя из столицы.

Между тем в июле 1831 года округа новгородских военных поселений поднимаются по первому известию о начале мятежа и без колебаний, без размышлений присоединяются к восстанию. Накануне еще внешне совершенно спокойные воинские части, аккуратно выполнявшие работы, беспрекословные на учениях, внезапно и без всякого перехода сбрасывают ярмо палочной дисциплины и начинают кровавое восстание, очень напоминающее народную революцию.

Повторяем, что сама собой напрашивается мысль о существовании заговора. Не такого, конечно, как заговор декабристов, с верховными думами, конституционными проектами и стратегическими планами восстания. Но такого заговора, где единый в социальном смысле массив людей, связанный братскими чувствами и глубоко уже осознанной к этому времени общностью интересов, решается сообща бороться с угнетающим их режимом и потом ожидает только условного сигнала к началу возмущения.

Много [illegible] спустя после описываемых происшествий, когда давно улеглась первоначальная тревога, граф Бенкендорф, в своих записках, подвел этим событиям весьма многозначительный итог:

„Обнаружившиеся на деле пагубные последствия су-ществования военных поселений почти у ворот столиц и глубоко укоренившегося в поселениях неудовольстви к своему положению не могли не обратить на себя осо-бенного внимания. Явилась необходимость изменит начала устройства поселений и уничтожить этот ду братства и совокупных интересов, который из двенад-цати гренадерских полков составлял как бы отдельну и притом вооруженную общину, разъединенную и о армии и от народа“.

Оказывалось, таким образом, что первоначальны расчет правительства,—а оно, как мы знаем, именн и хотело создать изолированную военную общину,— был ошибочен. Община и точно создалась, но она обра-тила свои штыки против правительства же, прояви поистине изумительный „дух братства и совокупны интересов“.

Первым, уже 12 июля, восстал Киевский гренадер-ский полк, что было вполне естественно при его тер-риториальной близости к Старой Руссе. Рота, котора первой узнала о начале возмущения, немедленно разо-слала людей в места расположения других рот, и вес округ охвачен был восстанием столь же быстро, ка если бы ротные штабы связаны были между собо беспроволочным телеграфом. Начальник округа, майо Емельянов, скрылся, остальные офицеры либо после-довали его благоразумному примеру, либо оказалис захвачены мятежниками.

В тот же день, 12 июля, подполковник Посье начальник округа Виртембергского полка, собрал у сво его штаба поселян из ближайших деревень и попыталс осторожно прощупать их намерения. Поселяне с гото-вностью заверили Посьета, что они не собираются вы-ходить из повиновения и даже не пустят к себе под-стрекателей из других округов, ежели таковые явятся Дальновидный подполковник совершенно успокоился отложил всякие дальнейшие попечения. Но следом з тем в деревнях появились посланцы из Старой Русс

с известием о восстании солдат рабочего батальона и с призывом быть готовыми к походу, итти на помощь батальону. И тотчас весь округ охватило заревом мятежа.

Тогда же мятеж проник в артиллерийские округа. Восставшие артиллеристы немедленно разослали своих людей в соседние округа. Старшина Прохоров прибыл в округ 3-го Карабинерного полка и, сняв людей с покосов, призвал их к возмущению. Несколько поселян и рядовых отправились в округ 4-го Карабинерного полка, где, разъезжая по деревням, разносили весть о начале восстания.

Таким образом, в ближайшие три дня после начала восстания в Старой Руссе, 12—14 июля, мятеж охватил все восемь округов Старорусского удела. Следом за тем кровавая волна мятежа перекатилась в Новгородский уезд, где в ближайшие же дни поднялись все округа, искючая одного Медведского, где был расположен 1-й Карабинерный полк. Начальник этого округа полковник Тризна, кажется, один из всех офицеров не потерял голову в этих смутных обстоятельствах. Узнав о восстании в соседних округах, он отправил батальоны за 30 верст от Медведя, в глухую и болотистую местность на покос, под тем предлогом, что якобы из Украины идет на усмирение поляков кавалерия, для которой необходимо заготовить сено. Не получая известий о начале восстания, карабинеры так и прокосили спокойно сено, покуда их товарищи держали знамя мятежа.

А император Николай, отлично знавший о хитрости полковника Тризны, шумно и демонстративно восторгался верностью 1-го Карабинерного полка и засыпал удачно одураченных поселян знаками своего монаршего благоволения.

Генерал Эйлер, начальник всех резервных батальонов поселенных войск, послал в Старую Руссу генерала Леонтьева с четырьмя батальонами гренадер. Сам он, с карабинерными батальонами, приведенными из лагеря в Княжьем дворе, расположился, не доходя двух верст

до города, в Дубовицах, в округе Киевского полка, в котором благодаря этому наступило обманчивое временное успокоение. 18 июля император Николай извещал графа Толстого:

„Здесь у нас в военном поселении произошло для меня самое прискорбное и весьма важное происшествие. Те же глупые толки и разглашения, что и в Петербурге, произвели бунт сначала в Старой Руссе, где зверски убиты Манжос, Мовес и лекаря; прибытие 2 бат. с 4 орудиями остановило своеволие; но в то же время в округах 1-й и 3-й бригад, но в особенности в артиллерийском округе бунт сделался всеобщий... Эйлер принял хорошие меры, и 1-я бригада приведена уже в порядок; по батальону, отправленному в артиллерию, стреляли и даже из орудий... Толпы артиллеристов разграбили соседние помещичьи дворы и делают ужас окрестностей. Тоже были беспорядки и в Коростени... В Австрийском полку убили батальонного командира Бутовича, и кажется, резервный сей батальон в том учавстовал. В Старой же Руссе 10-й рабочий почти весь участвовал в бунте. Я посылаю завтра Орлова, гр. Строганова и кн. Долгорукова, чтоб моим именем восстановить порядок. Но не ручаюсь, чтоб успели, и тогда поеду сам...“

Очень скоро Николай изменил своему мнению об Эйлере и в письме к тому же Толстому жаловался, что Эйлер и Леонтьев совершенно потеряли голову и своим поведением рискуют „уронить дух в остальных войсках“, т. е. в тех резервных батальонах, на верность которых еще оставалась слабая надежда. Вся беда была в том, что ни Николай, ни петербургские его советники не знали тогда еще той печальной истины, которая во всей своей неприглядной наготе явилась старорусским генералам. Именно, что „верноподданнический дух“ резервных батальонов надлежало „поднимать“, а на успех этого предприятия представлялось слишком мало шансов. Во всяком случае, Эйлер и Леонтьев нисколько не рисковали „уронить“ дух своих солдат, ибо эти

последние с самого начала восстания проявляли склонность примкнуть к мятежникам.

Только уже задним числом петербургская власть поняла поистине безвыходное положение, в котором оказались Эйлер и Леонтьев. Иные „умные“ головы, даже из очевидцев, из офицеров поселенных войск, так и умудрились ничего не понять и еще через много лет в своих воспоминаниях упрекали „несчастных“ генералов в нерешительности и оплошности. Но Бенкендорф, например, понял и вспоминал: „Генералы собрали батальоны, но не отважились итти на бунтовщиков из опасения, что приказания их останутся неисполненными“.

А император Николай, в очередном послании к графу Толстому с тревогой сообщал: „Резервные батальоны Киевский и гр. Аракчеева решительно вышли из повиновения, прочие 2-й дивизии мало надежны, также и артиллерия гренадер. Те же две роты, кои остались в своем округе, действуют заодно с бунтовщиками, перебив офицеров“.

Итак, генерал Эйлер бездействовал в Дубовицах, а генерал Леонтьев топтался в Старой Руссе, расположив свои батальоны бивуаками на улицах города. Вследствие этого мятежники имели постоянную возможность общаться с караулившими их солдатами и очень скоро склонили их на свою сторону. После кратковременного наружного успокоения бунт вспыхнул с удвоенной силой. Батальон Мекленбургского полка, стоявший на площади, примкнул к мятежникам. Сам генерал Леонтьев, находившийся при батальоне, был убит, а офицеры арестованы. То же самое повторилось и в остальных батальонах.

Узнав об этом, Эйлер тем более не решился итти на город. Он отправил в лагерь приказание батальонам Аракчеевского и принца Прусского полков форсированным маршем итти к нему на помощь. Однако Эйлер уже потерял веру в возможность удержать в повиновении и эти батальоны и доносил в Петербург, что не надеется подавить мятеж вооруженной силой.

Что же делали в это время мятежники? Они убивали особо ненавистных начальников, помещиков, врачей. Иных арестовывали и после истязаний, точно копировавших те истязания, которым недавно подвергались сами, отправляли в Старую Руссу, где, по их словам, предстоял суд над офицерами. Они отстреливались от правительственных войск. В некоторых округах восставшие создавали временные управления и т. д. Но всего этого было, конечно, мало. Поднять восстание оказывалось несравненно легче, нежели потом продолжать начатое. Энтузиазм, горячий подъем, пережитый поселянами в первые дни возмущения, искал какого-то конкретного приложения, искал какой-то определенной цели. А ее-то и не было.

Безначалие, отсутствие какого-либо общего руководства над разрозненными силами мятежников, отсутствие сколько-нибудь отчетливого представления о том, к чему может и должно привести восстание,— вот что, по существу, решило его судьбу. Ну, поднялись, вооружились, расправились с начальством и дворянами, олицетворявшими ненавистный режим. А что дальше? Дальше был провал, из которого веяло на мятежников холодом дезорганизации, усталости и развала.

Конечно, смешно было бы обвинять в этом новгородских бунтовщиков. Пугачевщины случаются не всякий раз. И потом ведь еще и в наше время даже пролетариат, вне зависимости от степени развития его классового самосознания, требует руководства, чтобы оказаться способным произвести социальную революцию.

Поселяне же чувствовали себя брошенными. Восстание выдыхалось из-за отсутствия руководства. Мощное и страшное вначале, оно растекалось мелкими ручьями по периферии, постепенно обмелевая в центре. Когда посланец императора Николая, неудачный усмиритель 14 декабря, генерал-адъютант граф Орлов, наделенный чрезвычайными полномочиями, прибыл в округа военных поселений, мятеж заметно шел на убыль, чем задача его значительно облегчалась. Хитрыми уловками,

на манер фортеля полковника Тризны, всевозможными улещеваниями и обещаниями Орлову удалось вывести часть войск и несколько успокоить остальные.

Орлов нисколько не обманывал себя насчет того, что успокоение это призрачное, при малейшем толчке могущее прорваться новым взрывом. Поэтому он пачє всего избегал этих толчков, настолько, что когда, например, офицерские вдовы обратились к нему за разрешением перенести тела „убиенных" на кладбище, Орлов отклонил эту просьбу, так как исполнение ее могло быть истолковано поселянами как демонстрация.

Но, так или иначе, а некоторое успокоение было достигнуто. Тогда пришла очередь императора Николая выступить на сцену.

„Первый дворянин и помещик в государстве, он повторил свой мелодраматический жест на Сенной площади и внезапно прибыл в военные поселения. Эта поездка, конечно, снова дала богатый материал „верноподданническому" славословию. Но лучше послушаем, как Николай сам описал свой „подвиг" в письме все к тому же Толстому:

„В Новгороде нашел я все власти с длинными запуганными лицами сверх всякого вероятия: все голову потеряло... Но приезд Орлова, потом мой приказ все сие кончил. Я один приехал прямо в Австрийский полк, который велел собрать в манеже и нашел всех на коленях и в слезах и чистом раскаянии. Потом приехал в полк наследного принца, где менее было греха, но нашел то же раскаяние и большую глупость в людях, потом в полк короля Прусского; они всех виновнее, но столь глубоко чувствуют свою вину, что можно быть уверену в их покорности... Потом — в полк графа Аракчеева; то же самое, покорность совершенная и раскаяние. Но тут мастеровая рота готова была к бунту; и я их при себе отправил вон в поход. Я тут обедал и везде все по дороге нашел в порядке. Заметь, что, кроме Орлова и Чернышева, я был один среди их, и все лежало ниц! Вот русский народ!"

Описание звучит весьма сильно! Николай оказывается в роли какого-то героя античной трагедии, единым словом усмиряющего беснующуюся толпу. У Николая был уже некоторый литературный опыт. Примерно в таких же выражениях описывал он поведение свое 14 декабря на Сенатской площади. Его тогда подвели свидетельства очевидцев, запечатлевших на страницах своих воспоминаний предательскую бледность и самую обыкновенную трусость этого „героя". И в данном случае воспоминания современников сыграли такую же предательскую роль, вопреки желанию их авторов представить царя в образе олимпийского бога.

Вот как, напр., по свидетельству полковника Панаева, происходило в действительности дело в Австрийском полку, где в интерпретации Николая Павловича все было „на коленях и в слезах". Сначало дело шло как будто хорошо. Император демонстративно отвергнул поднесенные ему хлеб-соль, велел отслужить панихиду и потом произнес громовую речь. Но когда речь дошла до требования выдать зачинщиков мятежа, поселяне ответили мертвым молчанием. А Панаев, стоявший в рядах поселян, услышал, как кто-то позади него сказал: „А что братцы? — полно, это государь ли? Не из них ли переряженец?" „Услышав эти слова, я обмер от страха,— продолжает Панаев,— и, кажется, государь прочел на лице моем смущение, ибо после того не настаивал на выдаче виновных". Мудрено было настаивать, чувствуя, что жизнь его весит на волоске! Николай струсил. Он поспешил отломить кусок кренделя, недавно им отвергнутый, промямлил что-то о прощении и поспешил уехать.

То же самое повторилось и в Прусском полку, о котором сам Николай отзывался в тех же выражениях. И там, по словам полкового священика, на требование государя выдать виновных, поселяне „промолчали и не оказали готовности выставить зачинщиков, потому что еще не прошел туман их ослепления. В этом мол-

чании,— продолжал священник,— как бы высказывалос упорство, которого не мог ожидать государь импера тор. Упорство это, видимо, огорчило его. Но негодовани не было им обнаружено, и через минуту возобновле вопрос: „Раскаиваетесь ли вы в ваших поступках?“ Не многие невнятно признались в своей виновности“.

Точнее будет сказать, что Николай не возобновил а резко изменил свой вопрос и был вынужден удовле твориться вовсе неудовлетворительным ответом. Н предоставим ему одному заканчивать свой „триумфаль ный“ объезд военных поселений.

Из вышесказанного и так с непреложностью явствуе призрачность и ненадежность успокоения военных по селян. Это отлично понимал и сам Николай, еще пер вого августа жаловавшийся Толстому: „Хотя, благодар богу, дела в Новгороде и Старой Руссе улучшились, н требуют непременно строгого разбора, а может быть и силы, дабы прийти в должное устройство“.

ЭПИЛОГ ВОССТАНИЯ

Волнения 1831 г. не ограничились одними только ок ругами военных поселений. Зловещими ручейками мя теж растекался по окрестным уездам, проникая даже в соседние губернии. Действующими лицами там, на-ряду с военными поселениями, являлись и помещичьи крестьяне.

Буря мятежа застала Аракчеева в Грузине, уже не у дел и забытого новым императором.[1] Услышав, что мятежники отправили несколько троек для его поимки Аракчеев намеревался было укрыться в Новгороде. Но по шоссе поселянами расставлены были пикеты, и не-давний вседержитель тайком, чуть ли не в чужом пла-тье, бежал в Тихвин. Только, когда уже мятеж начал утихать, Аракчеев пробрался в Новгород. Однако там

---

[1] Со вступлением на престол Николая I Аракчеев был отставлен и на его место назначен Клейнмихель.

ожидал его новый афронт: губернатор Денфер, узнав о приезде Аракчеева, послал к нему полицеймейстера с просьбой незамедлительно покинуть город, так как присутствие графа в Новгороде может послужить своего рода жупелом для мятежных поселян.

Взбешенный Аракчеев отнесся с жалобой к государю. Николай вступился за старого слугу и написал Чернышеву: „Из прилагаемого письма графа Аракчеева увидите, сколь неприлично поступают с генералом, в службе считающимся. Напишите предписание Г. Люце и г. губернатору, что на личную их ответственность возлагаю блюсти за безопасностью графа Аракчеева во время его пребывания в Новгороде, что их дело охранять от обид каждого, подавно же тех, коих удостаиваю носить мой военный мундир. Г. Люце, как временному коменданту, поставить следуемых по уставу часовых к дому гр. Аракчеева и принять все меры, если б, чему не верю, была точная опасность, чтоб с ним ничего не приключилось“.

Отставного временщика оставили в покое, и он продолжал жить в Новгороде, никого не принимая, ни к кому ни ездя и только вечерами играя в бостон по грошу.

Должно, впрочем, согласиться с губернатором Денфером: у него были весьма серьезные основания тревожиться за неприкосновенность Новгорода. В городе было крайне неспокойно. Составилось даже какое-то общество по борьбе с отравителями, и несколько дворян подверглось жестокому избиению.

Вслед за тем по Новгороду распространилась записка от поселян из Австрийского полка, с призывом присоединяться к восставшим. Денфер отрядил полицейского чиновника разведать дух солдат, стоявших на заставе. Расторопный чиновник, переодевшись кучером, замешался в кружок канониров, отпустил несколько приличных случаю прибауток, и затем, между прочим, спросил, как они поступят, ежели придут мятежники.

„Повернем орудия, да и покажем, где живет губернатор“,— не обинуясь отвечали солдаты.

Подобная откровенность вызвала в городе панику. Многие дворяне бежали, иные готовились к бегству.

Такая же тревога, обусловленная теми же причинами, господствовала и в Холме, где городские власти растерялись до такой степени, что едва не открыли пальбу по многоголовому стаду коров, издалека приняв его за полчища наступающих мятежников.

„Бунтовщики рассылали записки, когда и где будут,— вспоминал М. Ф. Бороздин,— в Демьянском уезде крестьяне собрались около домов своих помещиков, чтобы при первом удобном случае поднять все на воздух. Набат гремел по селениям, бунт охватил все пространство от Новгорода до Холма и Демьянска и готов был переброситься в Тверскую губернию“.

Распространению возмущения среди крестьян немало содействовала своими нелепыми мероприятиями и распоряжениями сама администрация. Она была всюду одинакова,—и в Петербурге, и в Тамбове, и в каком-нибудь Демьянске. В этом последнем дворянское собрание избрало, как полагалось, „смотрителей“, которые принялись за исполнение своих обязанностей чрезвычайно рьяно, но несколько своеобразно. Так один из них ни на что иное не обращал внимания, как на то только, чтобы в каждом селении запасено было достаточно перцовки, которую он, объезжая участок, поглощал в невероятном количестве.

Другие, воспретив крестьянам употреблять в пищу кислое, соленое, рыбу и сырые плоды, заставляли выливать квас в навоз, а овощи выбрасывать за селения в овраги, не заботясь о том, что подобная профилактика обрекала их подопечных на самый настоящий голод. А один из смотрителей, особенно ретивый, поймав на дороге крестьянина, развозившего мороженую рыбу, заставил отпрячь лошадь, обложить воз хворостом и сжечь его со всем содержимым.

Само собой разумеется, что вследствие таких и им подобных мер крестьяне с величайшей радостью приветствовали приходивших мятежников, и немало дворянских гнезд Демьянского уезда было разрушено в это тревожное время.

В литературе не имеется, к сожалению, сколько-нибудь точных данных о волнениях, происходивших в соседних губерниях. Несомненно только одно, что и в них Новгородский бунт отзвучал грозовым эхом. В Петербугрской губернии в разных селениях возникали крестьянские волнения, жертвами которых были все те же офицеры, чиновники и помещики. В отдельных случаях (напр., в Пашском погосте) беспорядки принимали весьма угрожающий характер. И правительство со всей жестокостью отвечало на них виселицами и каторжными работами.

Из отчета о действиях чиновников корпуса жандармов за 1831 г. узнаем о волнениях в Псковской губернии: „Подполковник Попов во время холеры в Псковской губернии, в особенности во время неблагонамеренных толков и даже ропотов на распоряжения губернского начальства, действовал с „толиким благоразумием", что был одним из виновников восстановления порядка".

Но все это была уже только мертвая зыбь после рассеянной бури. Восстание было подавлено. Перед правительством вставала иная, не менее ответственная задача: локализовать последствия мятежа и выяснить его причины.

Собственно причины возмущения были для правительства совершенно очевидны. Достаточно вспомнить недвусмысленные замечания Бенкендорфа о „пагубных последствиях существования военных поселений", объединенных духом братства и общих интересов, при едва сдерживаемом постоянном возмущении своим положением. Корни мятежа были налицо, но правительство предпочитало на первых порах заниматься не столько социальными причинами возмущения, сколько причи-

нами индивидуальными, конкретными виновниками его, стрелявшими из ружей в офицеров и вспарывавших вилами дворянские животы.

Нисколько, конечно, не обманываясь само, правительство пыталось обмануть своих „верноподданных“, доказывая, что зло кроется не в самих военных поселениях, как таковых, и не в том социальном и политическом строе, который их породил, а в поселянине Петрове и в рядовом Степанове, которых буйство и невежество толкнули на грабеж и убийства.

Прежде всего надлежало обезоружить едва утихшее восстание. Выше уже говорилось о том, что ловким фортелем начальству удалось обмануть настороженность поселян и вывести мятежные части из города, под предлогом личного объяснения с государем об их желаниях и требованиях. По пути они были разъединены, окружены верными войсками и отправлены по тюрьмам.

Тогда можно было уже приниматься за выяснение зачинщиков.

Но это оказалось несравненно труднее. Поселяне, не пожелавшие открывать виновных государю, и в дальнейшем хранили упорное молчание. Ни щедрые обещания милости, ни еще более щедрые угрозы не действовали, а прибегать к обычным средствам увещания, палкам и пыткам, начальство не решалось, всякую минуту опасаясь новой вспышки мятежа.

Мы бы, должно быть, так и не узнали, каким образом поселяне все-таки „доводились до сознания“, если бы тот же полковник Панаев не оказал еще раз медвежью услугу правительству, с простодушием и и юмором палача объяснив в своих воспоминаниях ту не хитрую механику, которую Панаев применил в Австрийском полку и которая, повидимому, в тех же формах применялась и в других округах.

А дело было так. Когда резервный батальон уже сидел в тюрьме, Орлов объявил Панаеву, что „государю угодно, чтобы поселяне доведены были до рас-

каяния". Монаршее желание равносильно приказу. И Панаев прибегнул к последнему, но зато верному средству. Воспользовавшись приближением Успенского поста, он распорядился во всех четырех ротах ежедневно отправлять по церквам служение и приготовляться к исповеди. А под рукой попросил настоятеля монастыря командировать в округ „пять человек умных монахов, кои могли бы на исповеди усовестить заблудшихся и привести к раскаянию убийц". „Монахи дело свое исполняли усердно", с удовлетворением заключал Панаев.

Удивляться тут, конечно, решительно нечему. Российские (как и другие. Ред.) священнослужители с давних пор выступали в роли предателей, оставаясь верными этому почетному занятию. Они являлись в камеру „государственного преступника" непосредственно за следователем, когда старания этого последнего оказывались бесплодны; именем Христовым они открывали уста легковерных, замкнутые перед именем царского закона, и потом не выпускали свою жертву до самого эшафота, покидая ее только для того уже, чтобы уступить место палачу. Не даром еще декабристы подозревали в предательстве своих исповедников.

Начальство поселенных войск, таким образом, пошло по проторенному пути, и старания его увенчались полным успехом. Следствие, по обыкновению, велось безобразно. Первоначальный руководитель его, генерал Эйлер, открыл аудиторам и писарям обширное поле для злоупотреблений в округах, благодаря чему зажиточная часть обвиняемых откупалась, а вся тяжесть ответственности ложилась на беднейших.

Сперва следственная комиссия, учрежденная в Старой Руссе, снимала допросы. Потом в Новгороде учреждена была военно-судная комиссия, которая, рассмотрев материалы следствия, разбила всех 2610 человек обвиняемых на четыре разряда. В первый отнесено было 88 человек, „вожаки и главари бунта, ярые истязатели и убийцы". Отнесенные к 1 разряду приговорены были

к наказанию кнутом и к ссылке в каторжные работы. Остальные подсудимые, в зависимости от степени их виновности, распределены были по следующим трем разрядам, будучи приговорены к наказанию шпицрутенами от 500 до 4 тысяч ударов и к исправительным наказаниям: отдаче в арестантские роты или отсылке на службу в Сибирский и Финляндский корпуса.

Экзекуция производилась частью в Новгороде, частью в самих округах. Как и во время чугуевского бунта, к месту экзекуции сгонялись все поселяне с семьями, не исключая женщин и детей-кантонистов. Всякий, сколько-нибудь знакомый с нравами николаевской эпохи, имеет, конечно, представление о тех зверских истязаниях, которым ослепленное самодержавие подвергало своих врагов. Тем не менее, стоит послушать очевидцев этих страшных сцен.

Руководить экзекуцией вызвался генерал Скобелев[1]. „Заплечные мастера“ были выписаны заблаговременно из Москвы, Твери и Новгорода. Они, видимо, хорошо знали свое дело.

„Сцена на плацу во время наказаний была шумна и ужасна... Удары кнута и бичевание шпицрутенами с воплем и стоном бичуемых раздавались по штабу, но крик кантонистов и визг женщин под розгами — заглушал все“. Это вспоминает священник поселенных войск, чуть ли не ежедневно привыкший наблюдать подобные сцены. А вот маленькие подробности из воспоминаний Гриббе:

„При экзекуции генералу Скобелеву показалось, что тверской мастер будто бы очень снисходительно отпускает удары. Это не понравилось генералу, и он приказал казаку дать палачу четыре жестоких удара нагайкою, что и было немедля исполнено. Затем, чтобы подогреть усердие палачей, Скобелев закричал: „Принести им водки!“ Водка была принесена, и опьяненные палачи усердствовали весь день в кнутобойничании, по-

[1] Отец прославленного „белого генерала“ М. Д. Скобелева.

ощряемые криками Скобелева. Само собою разумеется что все наказанные прямо с плаца были отправлены в госпиталь, а оттуда на третий день — в каторжную работу".

В каторгу пошли далеко не все: 129 человек умерло во время экзекуции.

Расправившись таким образом с мятежными поселянами, правительство вынуждено было задуматься и над тем, как быть с самими военными поселениями. Ясно было, что оставлять их в прежнем положении невозможно. Это понимали все. Об этом громко говорили в Петербурге. Жандармское „обозрение происшествий и общественного мнения в 1831 году" отмечало: „В июле месяце бедственные происшествия в военных поселениях Новгородской губернии произвели всеобщее изумление и навели грусть на всех благомыслящих. Происшествия сии возбудили в то же время и толки, сколь вредно и опасно может быть для столицы соседство военных поселений, и распространившийся вслед за тем слух о намерении правительства уничтожить новгородское военное поселение радовал всех, но вместе с тем... возбудил опасение, чтобы мера сия ее была принята поселянами как победа, над правитнльством одержанная".

Все это отлично учитывало и правительство. И тот же Бенкендорф, отмечавший необходимость коренной реорганизации военных поселений, представлявших постоянную серьезную угрозу самодержавию, признавался: „Но как после случившегося надлежало избегать малейшей уступки, то ко всем переменам было приступлено уже позже и притом более ввиде наказания. Один 1-й Карабинерный полк, в награду за свое поведение, остался на прежнем своем положении".

Через полгода после восстания новгородские военные поселения преобразованы были в округа пахотных солдат. По существу это была не реорганизация, а смертный приговор военным поселениям. Они утратили все свои специфические черты, а вместе с тем и всякий

смысл. Оставаясь каким-то никчемным придатком государственной машины, балансируя между военным и гражданским ведомствами, они номинально просуществовали еще до конца царствования Николая I, постепенно сходя на-нет.

Одним из первых мероприятий правительства Александра II явилось совершенное упразднение не только военных поселений, но и округов пахотных солдат, переданных в управление министерства государственных имуществ.

Так и кончилось бесславное существование этого последнего излюбленного замысла Александра I. Обнаженная от традиционных покровов, история военных поселений, этот опыт военно-государственного закрепощения, как мы выше имели возможность убедиться, входит прочным звеном в политику самодержавия, представляя отчаянную попытку создать новую опричнину, новый форпост против враждебных стихий. Попытка эта оказалась неудачной. Николаевская эпоха и, в частности, восстание военных поселян обнаружили такие глубокие социальные и экономические противоречия, которые не могли уже быть локализованы никакими паллиативами, никакими полумерами вроде создания военных поселений.



СОДЕРЖАНИЕ

Цена 25 коп. № 20

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

1. Правлению Издательства политкаторжан—Москва—ГСП. 10, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73; 1-31-26

2. Магазину Издательства политкаторжан